

A vertical photograph of a rainy city street at night. The scene is viewed through a glass surface covered in water droplets, creating a blurred and textured effect. In the foreground, a person is walking away from the camera, holding a large red umbrella. The wet pavement reflects the warm yellow and orange lights of street lamps and buildings. In the background, a large, ornate building with a prominent dome, likely a cathedral or church, is visible under a dark, overcast sky. The overall mood is atmospheric and melancholic.

Юрий ОКУНЕВ

.....

# В немилости у природы

.....

**Юрий Борисович Окунев**  
**В немилости у природы.**  
**Роман-хроника времен**  
**развитого социализма с**  
**кругосветным путешествием**

*Текст книги предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=23782884](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23782884)*

*В немилости у природы. Роман-хроника времен развитого социализма с кругосветным путешествием: Алетейя; СПб.; 2017*

*ISBN 978-5-906910-62-2*

### **Аннотация**

Новая книга известного ученого и писателя Юрия Окунева посвящена нелегкой и противоречивой судьбе талантливых ученых, создателей новой техники в условиях тоталитарной страны. Это – петербургский роман с ленинградской начинкой, это – путешествие из Санкт-Петербурга в Ленинград времен «развитого социализма». Герои романа работают на мировом уровне и готовы вывести свою страну на ведущие позиции в ключевых направлениях науки и технологии, но этому препятствуют окаменевшие порядки режима, вступившего в застойный период. Творческий порыв, энергия «бури и натиска» увядают в трясине косности, губящей все новое, живое и

нестандартное. Главным героям романа так и не удается прорваться сквозь заслоны партийно-государственной диктатуры – на родине их разработки не востребованы, а творческие планы не реализованы. Личные судьбы героев романа изломаны временем, в котором им приходится жить. Они размышляют о нем, об истории и будущем своей страны.

# Содержание

Предуведомление автора	6
Глава 1. Ленинград	9
Глава 2. Одесса	48
Глава 3. Стамбул-Константинополь	74
Глава 4. Севилья	110
Глава 5. Атлантический океан	134
Конец ознакомительного фрагмента.	155

**Юрий Борисович Окунев**  
**В немилости у природы**  
**Роман-хроника времен**  
**развитого социализма**  
**с кругосветным**  
**путешествием**

*Друзьям – страстным и наивным  
мечтателям-«шестидесятникам»,  
коллегам – талантливым  
инженерам и ученым  
времен «бури и натиска» XX века,  
посвящается*

# Предупреждение автора

Обычно беллетристы предупреждают читателей, что все герои их произведений, равно как и сопровождающие героев события, вымышлены автором от начала до конца. И если кто-то усмотрит сходство кого-либо из вымышленных героев с собой или со своими родственниками и знакомыми, то пусть не спешит паниковать и нанимать адвоката, ибо подобное сходство является чистой случайностью – чего, мол, в жизни не бывает. Такое предупреждение, фактически умаляющее правдивость авторского труда, имеет цель оградить его от судебных преследований за разглашение тайн частной жизни той категории читателей, которая склонна к сутяжничеству и доносительству.

Автор данного произведения хотел бы предупредить читателей в прямо противоположном, а именно – все герои настоящей хроники срисованы с реальных людей, а события списаны с подлинных историй от начала до конца, здесь всё – правда и одна только правда. Незначительный и не имеющий принципиального значения вымысел, о котором, конечно, следует сожалеть, состоит вот в чем: автор счел необходимым изменить подлинные имена героев, в ряде случаев перетасовать их характеры, а также завуалировать названия и местоположения некоторых объектов повествования. И еще одно: единственным человеком из причастных к опи-

сываемым событиям, которого автор вынес за скобки данной хроники, является он сам. А тем «я», от лица которого ведется рассказ, назначен совсем другой персонаж – личность отнюдь не вымышленная, а реально существовавшая, эдакий «герой нашего времени».

Впрочем, всё это, вероятно, недостойные упоминания мелочи – какое дело читателю XXI века до подлинных имен персонажей и других ненужных деталей века прошлого. Ему, быть может, любопытно было бы приноровиться к той атмосфере, перенести самого себя в то ушедшее время, «которого звуки и запахи», как говорил Лев Толстой, «еще слышны и милы нам». Поэтому задача автора – успеть, ибо, как утверждала Марина Цветаева, «успех – это успеть». Не упустить свой шанс, успеть сработать до точки невозврата – того момента времени, когда вернуться в прошлое уже невозможно, когда поколение прямых участников великих событий уходит в небытие, когда эти события становятся предметом архивных исследований, когда всё труднее и труднее нарисовать картину судеб, быта, мыслей и переживаний тех, кто жил и делал историю в то ушедшее навсегда время.

И последнее: отнюдь не сатана, а примитивное невежество «правит бал» на нашей планете. В начале XXI века уходит в мир иной последнее поколение прямых свидетелей ужасной Мировой войны прошлого века, свидетелей геноцида народов диктаторскими режимами, строившими социализм. Если новые поколения не услышат уходящих свидетелей и

предпочтут неведение, то их будущее, увы, не станет, мягко говоря, безоблачным, ибо история сурово наказывает тех, кто не учит ее уроков...

# Глава 1. Ленинград

*Александр Блок, поистине, может быть назван поэтом Невского проспекта... В нем – белые ночи Невского проспекта, и эта загадочность его женицин, и смутность его видений, и призрачность его обещаний... Блок – поэт только этой единственной улицы, самой напевной, самой лирической из всех мировых улиц, Идя по Невскому, переживаешь поэмы Блока – эти бескровные, и обманывающие, и томящие поэмы, которые читаешь и не можешь остановиться...*

*Я помню ту ночь, перед самой зарей, когда он впервые прочитал «Незнакомку»... Читал он ее на крыше знаменитой Башни Вячеслава Ива́нова. Из этой башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, возбужденные стихами и вином – а стихами опьянялись тогда, как вином, – вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый... по нашей неотступной мольбе прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом, и мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только он произнес последнее слово, из Таврического сада, который был тут же, внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое*

*соловьиное пение...*

*Корней Чуковский*

*Не поленитесь, придите в это место ясной  
белой петербургской ночью. Пройдитесь не спеша  
вдоль Таврического сада по Таврической улице  
со стороны Таврического дворца. Задержитесь в  
створе Тверской улицы напротив Башни Вячеслава  
Иванова и, подняв повыше голову, оторвитесь от  
земного и прислушайтесь... И тогда, в тишине  
безлюдных улиц, вы услышите, как с вершины  
Башни срывается, а затем пролетает с воздушной  
волной над темными деревьями таинственного сада  
и уносится в туманные заневские дали неземная  
музыка блоковских стихов:*

*И каждый вечер, в час назначенный*

*(Иль это только снится мне?)*

*Девичий стан, шелками схваченный,*

*В туманном движется окне.*

*И медленно, пройдя меж пьяными,*

*Всегда без спутников, одна,*

*Дышит духами и туманами,*

*Она садится у окна.*

*И веет древними поверьями*

*Ее упругие шелка,*

*И шляпа с траурными перьями,*

*И в кольцах узкая рука...*



В этом самом красивом и самом несчастном городе на Земле начиналось кругосветное путешествие героев нашей хроники, и там же оно закончилось – поэтому, в дополнение к поэзии Блока, о нем следует сказать хотя бы несколько слов «презренной прозой».

Объяснять, почему этот город самый красивый, нужно только тем, кто в нем не жил или провел здесь лишь недолгие туристские часы.

Объяснить, почему он самый несчастный, сложнее, поскольку в этом мире претендентов на крайнюю меру несчастья значительно больше, чем претендентов на высшую степень красоты. В свое время родина-мать предала этот город, вследствие чего он померк и стал отнюдь не «порфиросной вдовой», как Москва в петровские времена, а сосланной в отдаленную провинцию нелюбимой женой, мешающей правителю наслаждаться вновь обретенной избранницей-царицей. Вследствие другой, вскоре последовавшей военно-политической акции трехмиллионный город был обречен на вымирание от голода и холода – такого определенно не ведает история других несчастливых городов на планете Земля. Она, история других городов, не знает и крайностей ленинградского мученичества-от каннибализма доведенных до голодного безумия людей до беспрецедентных взлетов

человеческой духовности над гибельной бездной. Именно здесь, в преддверии злодейского умерщвления жителей, была создана величайшая симфония XX века, названная впоследствии Ленинградской. В те времена нигде в мире, охваченном мировой войной, не сочинялись симфонии – всем и везде было не до симфоний. И только здесь, в городе, который ежедневно бомбили и ежечасно обстреливали, в городе, на который надвигался голодный мор и который стоял на пороге падения и кровавой резни, была написана симфония, ставшая музыкальным символом века. Это был едва ли не последний взлет великой петербургской культуры, выдвинувшей Россию на первые роли в драме европейской цивилизации. После истребительной войны несчастья города отнюдь не закончились. Немало лучшего из остатков его науки и культуры было постепенно в добровольно-принудительном порядке изъято в пользу столичного центра – сосланной нелюбимой жене указали на ее бесповоротно провинциальный статус...

Классики русской литературы, поэзии и музыки любили сочинять на петербургские темы, но их мнения об этом городе были полярно противоположными – одни нежно любили его, а другие люто ненавидели. Некоторые считают, что такая поляризация мнений связана с тем, что первые имели теплые пальто и ботинки, а вторые их не имели. Действительно, в петербургском скверном климате теплое белье совершенно необходимо для поддержания хотя бы минималь-

ного уровня оптимизма, но выведение глубоких чувств корифеев из подобного бытового обстоятельства всё-таки смахивает на упрощенчество. Наверное, дело не только в теплом пальто... Некоторые классики видели в этом городе символ ненавистного им неколебимого столпа самодержавной власти или, того пуще – «чужое, враждебное русскому духу инородное тело, силой вклинившееся в русское пространство и подчинившее его своей злой воле». Они желали бы его исчезновения. Другие классики, наоборот, преклонялись перед славным прошлым Петербурга, поражались его загадочным настоящим и предсказывали ему великое будущее, а главное – ценили неповторимую эстетику Петербурга, любили его «строгий, стройный вид, Невы державное течение», его «оград узор чугунный», его «задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный» и восхищались, как «светла Адмиралтейская игла...»

Я, признаться, разделяю точку зрения последних, люблю этот город, но наша повесть не о том, совсем не о том... И даже непонятно, с какого бодуна развел я всю вышеприведенную лирику.

Всё рассказанное здесь основано на моих дневниковых записях. По характеру я склонен к анархии и хаосу – любая упорядоченность вызывает во мне чувство дискомфорта, и, напротив, чем выше энтропия окружающего мира, тем легче, свободнее мне дышится. Совершенно чуждую этому привычку едва ли не ежедневно оставлять хотя бы несколь-

ко строчек в дневнике я приобрел от своего университетского профессора. Однажды, заметив мой удивленный взгляд на дневниковое многотомье на полке его домашней библиотеки, он сказал: «Вы, Игорь, не представляете себе, как это всё интересно перечитывать по прошествии времени». Тогда я и начал регулярно вести свой дневник – сначала через силу заставлял себя, а потом... потом это стало привычкой. Впрочем, здесь, по-видимому, имел место еще один, странный, на первый взгляд, мотив... Не помню, кто из советских классиков утверждал, что в Советском Союзе вести дневник было небезопасным занятием. В случае ареста за антисоветскую деятельность, да и по любому другому поводу, изъятый дневник мог послужить серьезным подспорьем для обвинителей, а главное – мог подставить упомянутых в нем совершенно невинных людей. Кроме того, сам факт регулярного писательства, если ты не член Союза советских писателей, вызывал у копошащейся вокруг массы бытовых и производственных стукачей острое желание немедленно донести об этом куда следует, особенно в том случае, когда выслужиться иным способом не удавалось. Не шпион ли ты, пишущий отчеты для своего «агентурного центра», или, того хуже, «враг народа, сочиняющий антисоветские пасквили» – пусть компетентные органы проверят, ибо органы точно знают, что и кому положено писать, а кому нет... Может быть, мое дневниковое хобби было отчасти вызвано не вполне осознанным протестом против таких порядков. Тем самым протестом,

который побуждает рассказать и эту историю «кругосветного путешествия».

Читатели, по моим наблюдениям, делятся на тех, кто любит книги о путешествиях, и на тех, кто их не любит. Лакмусовой бумажкой интереса к путешествиям являются известные строки из знаменитой песни туристов «Бригантина», с которой начиналась вся бардовская музыка и поэзия:

И в беде, и в радости, и в горе,  
Только чуточку прищурь глаза —  
В флибустьерском дальнем синем море  
Бригантина поднимает паруса.

Упомянутые любители книг о путешествиях, будучи романтиками и прочитав о кругосветном путешествии, с надеждой подумали, что здесь будет нечто вроде «Фрегата Паллада» или, пуще того, наподобие «Острова сокровищ», — ведь они верят, что достаточно «чуточку прищурить глаза», чтобы увидеть хотя бы «в дальнем синем море» нечто прекрасное и влекущее... Их антиподы, будучи прагматиками, напротив, рассудили здраво, что никаких путешествий здесь не ожидается — ведь они полагают, что, сколько ни «щурь глаза», ничего нового и привлекательного не увидишь ни «в дальнем синем море», ни в близлежащей помойке... В данном случае, однако, нет правых и неправых. Конечно, в нашей повести не следует ожидать морских этюдов в манере Ивана Гончарова или приключений в стиле Роберта Сти-

венсона. Вследствие форс-мажорных обстоятельств, послуживших толчком к ее написанию, все впечатления о кругосветном путешествии свелись здесь к романтическим эпиграфам, предваряющим каждую новую главу. И тем не менее, к радости любителей приключений, могу сказать – путешествие всё-таки будет, но не в пространстве, а во времени, путешествие в далекие и быстро ускользающие из памяти поколений странные до неправдоподобия времена вошедшие в историю под условным названием «эпохи развитого социализма».

Впрочем, пора оставить философствование на общие темы и перейти к делу.

Всё началось с того, что моего босса и друга Арона срочно вызвали на ковер к самому Генеральному директору нашего почтового ящика Митрофану Тимофеевичу Шихину. Не имевшие счастья жить в те далекие времена уже, конечно, недоумевают – как это можно быть директором почтового ящика. Для них поясняю, что описываемый здесь «почтовый ящик» не имел никакого отношения ни к почте, ни к каким бы то ни было ящикам. Так именовалась огромная секретная организация, в которой мы с Ароном работали, – «Предприятие почтовый ящик №...», или сокращенно – «Предприятие п/я №...». Подлинный номер я, с вашего позволения, называть не буду из соображений упомянутой выше секретности. Наш почтовый ящик имел еще, как говорили, «открытое название», долженствующее окончательно сбить

с толку слишком любознательных: «Научно-производственное объединение общего приборостроения», сокращенно – НПО ОП, или еще короче – ПООП. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, скажу сразу: название не имело никакого отношения к тому, чем мы с Ароном на самом деле занимались. Знаете, в свое время, то есть в доисторические времена, в Москве по приказу маршала Тухачевского, впоследствии зверски убитого по указанию Сталина, был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), где, между прочим, были разработаны первые в мире установки реактивной артиллерии под нежным названием «Катюша», но на фронтоне здания для чрезмерно любопытных и сильно нервных значилась успокаивающая надпись: «НИИ сельскохозяйственного машиностроения». Так примерно обстояло дело и с нашим ПООП-ом. О секретности в философском плане мы еще поговорим, а пока вернемся к сути происшествия.

Вызов к адмиралу – так мы называли между собой нашего Генерального директора – как правило, ничего хорошего не сулил. Поэтому в ожидании неприятностей я только лишь волновался и ничего больше не делал. Наконец, уже на исходе рабочего дня, появился излучавший загадочность Арон. Я прикинулся, что меня это всё абсолютно не интересует, и собрался уходить домой, но Арон остановил меня.

– Подожди, Игорь, не торопись... не пожалеешь. Угадай с трех раз, что замыслил адмирал, – предложил мне загадку

Арон.

– Еще один проект без увеличения штата – это раз; уменьшение зарплаты или премии – это два; понижение меня, или тебя, или нас обоих в должности – это три.

– В тебе нет ни грана оптимизма, как, впрочем, у всех мизантропов и диссидентов, – съязвил Арон, а затем буквально ошарашил меня риторическим вопросом: – Хочешь поехать в кругосветное путешествие за счет государства в персональной каюте на борту академического корабля?

– Сегодня не первое апреля, Арон, – попытался отшутиться я с перехваченным дыханием. – И, кроме того... у меня морская болезнь.

– Ничего! Мы тебе таблетки от морской болезни пропишем – в наше время это не проблема.

В тот вечер мы засиделись на работе, а потом еще поехали домой к Арону, чтобы выпить водки по случаю этой невозможной удачи. Там под закуску, выставленную его женой – красавицей Наташей, Арон и рассказал мне некоторые подробности визита к адмиралу. Здесь, однако, следует открутить пленку на несколько лет назад, чтобы читателю хотя бы что-то стало ясно.

Однажды, но не очень давно, ибо я уже был тогда начальником исследовательской лаборатории в отделе Арона, он вызвал меня в свой кабинет и торжественно-официально объявил:

«Нам поручена разработка чрезвычайной

государственной важности... Твоей лаборатории, Игорь Алексеевич, предстоит в сжатые сроки выполнить эскизный проект новой системы, начиная от теоретического обоснования и кончая техзаданием на опытно-конструкторскую разработку. С еженедельными отчетами на спецсеминаре...»

Потом Арон Моисеевич ознакомил меня с техническими требованиями к новой системе. Скажу вам по большому секрету, но максимально туманно и неконкретно, ибо иначе не позволено, – это был грандиозный проект шифрованной радиосвязи с некими объектами стратегического назначения, находящимися в любой точке мирового океана. Арон дал мне американский технический журнал с подробным описанием аналогичной «ихней» системы: «Посмотри, как там у них это делают, – может, что и пригодится». Пригодилось – мы сумели сделать точно «как там у них», у «полезных идиотов», не умеющих и не желающих оберегать свои секреты. Более того – сделали лучше, чем у них, благодаря парочке новинок-озарений, которые посетили нас с Ароном. И вот теперь, когда опытный образец нашей аппаратуры был сделан, высокое московское начальство решило испытать его на просторах мирового океана и с этой целью организовало кругосветное плавание советского океанографического научно-исследовательского судна – помните «институт сельскохозяйственного машиностроения», в котором разрабатывались «Катюши»? Подобрать группу испытателей для это-

го плавания, естественно, было поручено нашему адмиралу. Он, вероятно, не без колебаний и не без желчи решил, что возглавить этот испытательный вояж должен Главный конструктор разработки, каковым являлся Арон. Расчет адмирала был ясен и незамысловат: при удачных испытаниях большая часть славы и наград достанется ему, а в случае провала всё можно будет свалить на Арона.

Совещание в огромном кабинете Митрофана Тимофеевича было описано мне Аронем в мельчайших подробностях, хотя некоторые детали, относившиеся к моей персоне, он деликатно опустил. Помимо двух главных действующих лиц на площадке присутствовал военный представитель заказчика – инженер-капитан первого ранга, имя и отчество которого я осмотрительно опушу, а также секретарь парткома Иван Николаевич и начальник Первого отдела Валентина Андреевна – об этой чудной парочке мы еще не раз вспомним. Видно было, рассказывал Арон, что эти четверо уже всё обсудили и решили до его прихода. Распоряжение формулировал адмирал, Арон молча слушал, а остальные согласно кивали:

«Вам, Арон Моисеевич, в соответствии с постановлением правительства мы поручаем, во-первых, подготовить к государственным испытаниям изделие „Тритон“ и, во-вторых, возглавить лично и провести эти испытания на борту исследовательского судна Академии наук СССР – порт отправления Одесса, порт возвращения Ленинград. Испытания должны охватывать три океана – Атлантический, Тихий

и Индийский, маршрут плавания будет установлен соответствующими распоряжениями заказчика».

Потом обсуждались организационные вопросы – режим работы наземных радиоцентров на Кольском полуострове и на Камчатке, график сеансов связи, состав инженерной группы поддержки на корабле...

– Кого вы, Арон Моисеевич, предложили бы послать с вами в качестве заместителя по общим вопросам? – спросил Шихин.

– Я бы просил утвердить в этом качестве ведущего разработчика системы Игоря Алексеевича Уварова.

После этого заявления Арона наступила напряженная тишина...

Последующая часть совещания реконструирована мной на основе его краткого пересказа, а в большей степени и со всеми подробностями по информации от Екатерины Васильевны – помощницы секретаря парткома, которую в определенные интимные моменты я называл Катеньшем. Дело в том, что совещание записывалось на магнитофон, а Екатерина Васильевна перепечатывала текст для партийного архива. Как рассказывали Арон и Катя, моя кандидатура на роль кругосветного путешественника вызвала некоторое замешательство – ведь корабль будет заходить в порты капиталистических государств. Конечно, сходить на берег нам, допущенным к секретам государственной важности, скорее всего, не разрешат, но всё-таки пребывание в непосредственной бли-

зости с капитализмом требует особой идейной закалки, которая, по данным Первого отдела, у меня лично была в дефиците.

Военпред переглянулся с Валентиной Андреевной, она неопределенно пожала плечами.

– Следовало бы подобрать более подходящую кандидатуру, – сказал военпред.

– Чем названная кандидатура не устраивает военно-морской флот? – удивился Арон.

– Было бы правильным подобрать на роль вашего заместителя члена партии.

– Товарищ Уваров, – протокольно ответил Арон, – лучше всех знает систему в целом. Он, кроме того, кандидат технических наук, специалист по обработке стохастических сигналов. Если вам, как представителю ВМФ, нужны исчерпывающие статистические характеристики системы в реальных условиях, то лучшей кандидатуры нет.

– Ваше мнение, Валентина Андреевна? – спросил Шихин.

– Если только под личную ответственность Арона Моисеевича, – ответила она и требовательно взглянула сначала на Арона Моисеевича, а затем на Ивана Николаевича.

– Я в данном случае поддерживаю мнение Арона Моисеевича, – включился в дискуссию Иван Николаевич. – Товарищ Уваров честный советский человек и прекрасный специалист. Мы в любом случае будем рассматривать кандидатуры выезжающих за границу на Идеологической комиссии

парткома. А здесь давайте исходить из интересов дела.

– Предлагаю утвердить кандидатуру Уварова для последующего рассмотрения в парткоме, – подвел черту Митрофан Тимофеевич, демонстративно снимая с себя ответственность за мое поведение за границей.

Тогда, в доме Арона и Наташи, я еще не знал подробностей этого разговора, но даже краткая информация Арона вывела меня из себя. К тому же я крепко выпил и меня понесло.

– Вот смотри, Арон, как это всё со стороны выглядит: партийному еврею, то есть тебе, абсолютное доверие начальства, а беспартийному русскому, то есть мне, от ворот поворот. Объясни – эта партийная шпана не доверяет мне как беспартийному или как русскому?

– Тебе, милый друг, не доверяют не потому, что ты русский или беспартийный, а потому, что разведен, семью завести не хочешь, а вместо этого практикуешь загул, разгул и еще... не знаю, как это у вас, мужчин, называется... Не думай, что твои донжуанские подвиги никому не известны, – вступила в разговор Наталья.

– А вот это уже клевета, я не Дон Жуан, а Джакомо Казанова.

– Не вижу особой разницы.

– А разница, Натальюшка, между прочим, принципиальная: Дон Жуан соблазнял женщин, чтобы унижить их, а Казанова – чтобы доставить им удовольствие.

– Ты объясни эту разницу адмиралу или в парткоме, – сказал Арон. – По сути, Наташа права. Твое досье в Первом отделе с учетом доносов наших стукачей, вероятно, не оставляет без внимания и тех, кому ты «доставляешь удовольствие», а это не самая лучшая рекомендация для заграничных поездок.

– Согласен, моя репутация не самая лучшая, но подозреваю, что эту приклатненную начальственную публику в данном случае абсолютно не интересует мой моральный облик. Они просто задницу свою прикрывают... Еще посмотрим «кто более матери истории ценен» с ихней колокольни – аморальный беспартийный русский или безгрешный партийный еврей.

Хотя впоследствии я оказался прав, но этого своего высказывания всегда стыдился и стыжусь до сих пор – неэлегантно, хамовато у меня получилось, хотя ни Арон, ни Наташа тогда как будто ничего и не заметили. Мой институтский профессор советовал: «Не торопитесь высказаться – вы никогда не пожалеете о несказанном, но много раз будете жалеть о том, что сказали». У меня это, к сожалению, не получается.

А ведь Арон и Наташа так добры ко мне, чего я отнюдь не всегда заслуживаю.

Вот и теперь... это кругосветное путешествие – подарок бесценный Арона, мечта моя с детских лет, когда я еще зачитывался Жюль Верном, мечта несбыточная, вечно усколь-

зающий фантом. В погоне за утраченным фантомом я путешествовал много и безудержно. Прошел пешком едва ли не все перевалы Большого Кавказского хребта, ходил из Домбая в Грузию – мне представлялось, что нет и быть не может во всём белом свете еще одной такой красоты. Объехал вокруг озеро Севан в Армении и озеро Иссык-Куль в Киргизии. Странствовал по архангельским таежным поселкам, башкирским лесам и калмыцким степям. Путешествовал по Ладогге, Байкалу, Волге и Лене, плавал на круизных кораблях из Одессы в Батуми. Изъездил всю Прибалтику, Белоруссию и Закарпатье. Всего и не перечислить, но ведь Земля такая огромная...

Если верить в реинкарнацию, то в самом начале XV века стоял я, вероятно, рядом с португальским принцем Генрихом Мореплавателем в крайней западной точке Европы на мысе Сагриш у Атлантического океана. «Почему Земля такая маленькая и что там – за этим беспредельным океаном?» – спросил принц ученых и кормчих. Все молчали, а я ответил: «Земля так огромна, как мы вообразить не можем, она простирается и за этим, и за другими океанами... Прикажете выйти в открытый океан, дерзайте, принц!» Мнения ученых и кормчих разделились: ученые утверждали, что вблизи экватора море сгущается и корабли определенно сгорят под отвесными лучами Солнца, а кормчие рассказывали, что видели карты, на которых обозначен путь вокруг Африки. Но принц послушался меня, принял смелое решение и

отдал приказ выйти в открытый океан, вследствие чего началось беспрецедентное дерзание маленького португальского народа, нашедшего новый путь в Индию и открывшего в течение нескольких десятилетий столько дотоле неизвестных стран и народов, сколько не было найдено за всю прежнюю историю. А потом я был летописцем первого кругосветного плавания под командой великого адмирала Фернандо Магеллана, и до сих пор моя любимая книга – новелла Стефана Цвейга под названием «Магеллан», написанная, между прочим, по моей летописи...

В этом месте нашего рассказа необходимо уйти из мира фантазий и прерваться для дачи чистосердечных показаний. Ведь мы пишем для людей XXI века, а им абсолютно непонятны авторские сантименты, терзания и стенания по поводу, например, кругосветного путешествия. «В чем, собственно, проблема? – недоумевает наш молодой энергичный читатель. – Возьми отпуск, если у тебя не собственный бизнес, купи билет на круизный лайнер и плавай себе, куда захочешь. Или, того проще, приезжай в ближайший аэропорт и лети в любую точку шарика, куда душа пожелает, – только паспорт не забудь взять да визу оформить, если потребуется. Правда, деньги на это уйдут немалые, но ведь, если такова мечта жизни, то не на ней же экономить». И выясняется, что современному читателю нужны не только душещипательные истории из жизни наших героев далекого прошлого, выписанных кем-то талантливо или бездарно в виде

типичных или, напротив, атипичных образов, но и конкретные, подлинные условия того неведомого читателю мира, в котором означенные герои существовали.

А существовали они в Советском Союзе эпохи «развитого социализма», в котором поездки за пределы «социалистического лагеря» дозволялись: шпионам, дипломатам и агентам при всевозможных заграничных службах, партийно-правительственным делегациям по особым случаям, специально отобранным ученым, писателям и артистам тоже по чрезвычайным обстоятельствам, а также особо приближенной партийно-хозяйственной верхушке – если кого забыл, меня поправят. Да, конечно, забыл – за границу допускались еще моряки торгового флота во время заграничных плаваний. Правда, ходить по «капиталистическим заграницам» им разрешалось по трое, то есть, уточняю, только в составе специально подобранных троек (не путать с гоголевской «птицей-тройкой»), так чтобы в случае несоветского поведения одного из членов тройки два других или, по крайней мере, один настучал куда надо. Всему остальному населению страны рекомендовалось либо сидеть дома и на даче, у кого она была, либо путешествовать во время отпуска по бескрайним просторам родины, в которой, как утверждалось, есть всё, что можно найти за границей, равно как и всё то, чего за границей найти нельзя...

Вспоминаю, что у многих мужчин старшего поколения в изощренно коварной графе анкеты «Пребывание за гра-

ницей (где, когда, при каких обстоятельствах)» значило: «Германия, 1945, в составе войск Красной Армии» – больше нигде и никогда в своей жизни они, поверьте, действительно не бывали. Не помню, кто сказал: «Свобода – это когда ты можешь поехать в ближайший аэропорт и улететь к чертовой матери». У советских людей была возможность воспользоваться только первой частью данной рекомендации. Кто-то из классиков заключил по этому поводу: «Если из страны можно свободно уехать, то в ней можно жить», из чего следует неразрешимый парадокс – если из страны нельзя уехать, то в ней нельзя и жить. Но они, советские люди, жили, а некоторые даже числили себя самыми счастливыми на Земле, за что впоследствии сами себя презрительно называли совками.

Совком, кстати, согласно толковому словарю русского языка, называется как государственное устройство бывшего Советского Союза, так и субъект его населения с привычками, навязанными коммунистической идеологией, – только в первом случае слово это желательно писать с большой буквы, а во втором можно и с маленькой. Одним из важных атрибутов совковости было причудливое сочетание фантазий о райской жизни «там» с вбитым в подкорку убеждением, что советскому человеку «там» жить невозможно и даже временно пребывать нежелательно. Об этом, к слову сказать, сохранилось немало анекдотов, бывших, на самом деле, простым переложением на язык народного юмора реальных историй и ситуаций, но что может быть поучительней, чем быть, по-

хожая на анекдот. Вот одна из таких анекдотических былей, имеющая прямое отношение к нашей теме.

В семье Арона и Наташи жила одно время молодая девица Ксюша родом из псковской деревни. Она убежала от голодной колхозной жизни в город и устроилась домработницей с временной пропиской в квартире Арона и Наташи. У них было двое маленьких детей, но Ксюша справлялась и с ними, и с уборкой, и с готовкой, и всё это фактически за еду и крышу над головой – лишь бы не обратно в колхоз. Как-то утром, за завтраком, Арон просматривал вчерашнюю газету и краем уха слушал новости по радио, а Ксюша вертелась вокруг по хозяйству. Диктор нравоучительно рассказывал, как один советский артист балета, будучи на гастролях в Швеции, изменил родине и попросил там политического убежища, как он теперь страдает на чужбине, как его осуждают в коллективе и т. д. и т. п. Внезапно Ксюша спросила: «Арон Моисеевич, зачем же он остался в Швеции – ведь там капитализм?» Арон отложил газету и напрягся, мгновенно оценив, какой сложный вопрос задала ему девушка. В его намерения отнюдь не входило просвещать Ксюшу и объяснять ей, насколько выше уровень жизни в капиталистической Швеции по сравнению с социалистическим Союзом, особенно если сравнивать, скажем, шведских фермеров с колхозниками из Ксюшиной деревни. Осознав безвыходность своего положения перед лицом этой наивной простоты, которая, как известно, хуже воровства, он выкрутился гениально: «Навер-

ное, Ксюша, он не знал, что там капитализм».

Шутки шутками, а запрет на поездки населения за границу был важнейшим принципом Совка, его государствообразующим фундаментом, заложенным еще основоположниками марксизма-ленинизма-сталинизма. Мой отец, по-видимому, много размышлял об этом фундаменте. Он сам пересекал, а вернее – раздвигал границы родины дважды, причем оба раза это было на Карельском перешейке во время советско-финской войны. Детали отцовских мыслей вслух стерлись из памяти – прошло слишком много времени, но в моем дневнике сохранился вот такой фрагмент, записанный, судя по всему, по горячим следам его рассуждений:

«Первые два основоположника – Маркс и Энгельс – „научно“ доказали, что коммунизм может быть построен только во всех странах одновременно. Они рассуждали вполне логично – поскольку коммунизм устанавливается с помощью насилия, называемого диктатурой пролетариата, то его победа в какой-либо одной, отдельно взятой стране, приведет к бегству ее непролетарского населения в другие страны, где коммунизм еще не построен, крайне затруднив, а может быть, и сделав невозможным построение коммунизма повсеместно. Третий основоположник – Ленин – не менее „научно“ доказал обратное – возможность и даже неизбежность построения и социализма, и коммунизма в одной, отдельно взятой стране, которой, по несчастью, оказалась такая большая страна, как

Россия. Он тоже рассуждал вполне здраво: если разрешение на убытие за границу в „отдельно взятой стране“ будет давать лично он или назначенные им строгие надзиратели вроде товарища Дзержинского – того, „делать жизнь с кого“ предлагалось советским поэтом, – то никто никуда не убежит, и, следовательно, в этой стране можно будет построить полный социализм, постепенно переходящий в коммунизм. Правда, третий основоположник рекомендовал поспешать с мировой революцией – видимо, опасаясь, что все-таки население „отдельно взятой страны“ разбежится, не дождавшись даже социализма. Четвертый основоположник – Сталин – довел ленинскую идею построения социализма в одной, отдельно взятой стране до полного совершенства и достиг невиданного в долгой истории человечества результата – много тысячекилометровая граница гигантского государства была закрыта наглухо, так что и мышь не пробежит, с помощью системы непроходимых заграждений из колючей проволоки, минных полей, погранзон и погранзастав, днем и ночью охраняемых миллионной армией пограничников с собаками. Помимо этого четвертый основоположник внес в мизантропские идеи своих предшественников свежую струю, отличавшуюся особой лютостью, – семьи и родственники сбежавших за границу граждан подлежали немедленным суровым репрессиям. Подобно пахану банды уголовников, он исходил из того, что подвластное ему население можно превратить в „тварей дрожащих“ только

в том случае, если им, тварям, некуда будет смыться и негде будет спрятаться. В этом четвертый основоположник, надо признать, вполне преуспел и по существу превратил огромную часть планеты в концентрационный лагерь, закономерно именованный „социалистическим лагерем“, где покорные рабы славят величие и мудрость своего „вождя, отца и учителя“. Преемники четвертого основоположника, также претендовавшие на роль основоположников, но ими не ставшие, по существу ничего не меняли в уже созданной и вполне оправдавшей себя сталинской системе – гаранте их незыблемой власти над населением».

Прошу прощения у читателей за длинноватое историко-политическое отступление, особенно у тех, кто сам еще помнит те далекие времена или знает все это из книжек. Как, однако, мало осталось первых, и как быстро уменьшается число вторых! В беллетристике, в отличие от эссеистики, не принято использовать подобные длинные отступления публицистического толка – полагают, что это есть моветон. Изящная словесность предпочитает ненавязчиво, деликатно вызывать историко-философские реминисценции прошлого через образы литературных героев... Но кто же тогда расскажет новым поколениям неприбранную, голую правду о прошлом вопреки законам изящной словесности? Ту правду, которую тщательно замазывает будущее, желающее иметь лишь великое прошлое.

Наверное, тем, кому посчастливилось не знать лично этого прошлого, наше отступление позволит понять человека, который с детства мечтал о путешествиях в далекие заморские страны, в юности понял, что эта мечта на его родине абсолютно несбыточна, а в зрелые годы вдруг получил командировку в кругосветное путешествие. Этот человек, пребывая в состоянии эйфории, тайно обдумывал предположительный маршрут путешествия: Одесса, Босфор и Дарданеллы, Стамбул, Афины, Венеция, Мессинский пролив, Неаполь, Марсель, Барселона, Севилья, Гибралтар, Атлантический океан, Багамы, Эспаньола, Ямайка, Панамский канал, а может быть, чем черт не шутит, Барбадос, Рио-де-Жанейро, Огненная земля и Магелланов пролив, а потом – Тихий океан, Гавайи, Фиджи, Соломоновы острова, Филиппинский архипелаг, Острова пряностей, Сингапур, Коломбо, Мадагаскар, Кейптаун, Берег Слоновой кости, Острова Зеленого мыса, Дакар, Санта Круз, Канарские острова, Касабланка, Лиссабон, Ла-Манш, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Ленинград.

Арон, конечно же, отказался обсуждать со мной маршрут нашего кругосветного путешествия. Не скажу, что ему чужда романтика. В туристских походах у костра он играет на гитаре и своим несильным, но красивым баритоном поет бардовские песни Юрия Визбора о далеком и несбыточном – «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях, встретимся с тобою». Но в работе предпочитает сухой прагматизм.

– Арон, я с детства мечтаю одним счастливым утром приплыть к райским островам Фиджи. Почему бы ни включить их в наш маршрут, ведь начальству все равно, где мы будем плавать. Представляешь, мы испытываем наш «Тритон» у берегов Фиджи. Звучит, не правда ли?

– Ты, Игорь, форсируй, пожалуйста, проверку декодера в паре с компьютерным симулятором канала. Боюсь, нам будет скоро не до твоих Фиджей.

Мой шеф, конечно, личность выдающаяся, на грани гениальности, необычный во многих отношениях человек. Взять хотя бы его фамилию – Кацеленбойген. Я ему говорю:

«Ну зачем ты, Арон, мучаешь наших несчастных кадровиков и сексотов – им же трудно запомнить, записать или, не дай бог, произнести твою фамилию. Сократи ее в интересах следствия и прогрессивной общественности. Например, Кац – звучно, кратко и предельно ясно. Или Кацелин – тоже неплохо. Или начни со второй половины, например, Ленбойгин – как-то даже по-партийному звучит; ну, в конце концов, и Бойгин – совсем недурственно. Твоя фамилия дает столько возможностей, а ты их не используешь. Смотри – писатель Илья Файнзильберг переделал себя в интересах читателей на Илью Ильфа, одну только букву „фэ“ оставил от родовой фамилии, и прекрасно получилось. Или, например, Лейзер Вайсбейн – ну скажи, кто бы снимал в кино на главную роль артиста с тремя „й“ в имени и фамилии, а Леонида Утесова

охотно снимали. Вообще, из-за этих множественных „й“, да еще в самых неподходящих местах, у вас, евреев, одни неприятности. Поэт Михаил Светлов из-за этого вынужден был отказаться от своей красивой фамилии Шейнкман, а журналисту Михаилу Кольцову пришлось избегать своего первородного имени Моисей, а потом ему даже довелось стать Мигелем, после чего Сталин его расстрелял как иностранного шпиона».

Арон не обижался на мой стёб по поводу его фамилии. Я был его учеником, писал диссертацию под его руководством, а потом мы стали друзьями. Арон на десять лет старше и в несколько раз талантливее меня.

– Фамилию меняют, когда за ней ничего не стоит, когда не знают или не хотят знать своего прошлого, своих предков, которые, поверь мне, были не глупее нас, – наставлял он меня.

– Ты имеешь в виду «Ива́нов не помнящих родства»?

– Не имеет значения, Ива́нов или Абра́мов. Я имею в виду более важную вещь: отсутствие интереса к своим предкам – это в какой-то степени провинциализм. Можно жить в столичном городе и оставаться провинциалом, обывателем с амнезией исторической памяти.

Это было его хобби – отыскивать предков и связывать их жизнь с известными фактами истории. Оказывается, фамилия Арона происходила от названия немецкого города Katzenelnbogen в прирейнской долине, где его предки поселились ещё в XIV веке. После еврейских погромов во време-

на Черной смерти они перебрались в Италию. Среди предков Арона были знаменитые средневековые раввины Падуи и Венеции, наследники которых впоследствии принесли талмудические знания в Литву и Польшу. После раздела Польши они стали подданными Российской империи, жили в черте оседлости, а в годы революции примкнули к большевикам, отказавшись от своего раввинского наследия. Дед Арона был комиссаром в Гражданскую войну, а отец – офицером Красной Армии. Эта удивительная семейная Одиссея подвигла меня на собственное генеалогическое исследование, но, честно говоря, я не продвинулся дальше смутных данных о своих дедушках и бабушках.

– Мой дед был из зажиточных тамбовских крестьян, – рассказывал я Арону. – Не твой ли дед-большевик раскулачивал его?

– Мой дед в годы коллективизации работал экономистом в Наркомтяжпроме, был помощником наркома Серго Орджоникидзе, – вяло оправдывался Арон.

– Объясни мне, Арон, почему среди потомков раввинов оказалось так много революционеров?

– Не только революционеров, но и ученых, философов, музыкантов... Раввины обладали утонченным умственным аппаратом, отшлифованным на Торе и Талмуде. Эта шлифовка не только укрепляла их ортодоксию, но и высекала искры новых идей... Первыми учителями Спинозы были раввины. Не они ли огранили алмаз его ума так, что он сначала

взбунтовался против раввинской религиозной схоластики, а потом совершил революцию в философии? Идеалисты становятся революционерами, когда приходит время реализовать идеи справедливости...

– Сталинские палачи и вохровцы из НКВД тоже пришли для «реализации идей справедливости»?

– Не передергивай, Игорь, «сталинские палачи и вохровцы» не имели никакого отношения ни к справедливым идеям, ни к революции.

Как ни странно, мы с Ароном, будучи во многом единомышленниками, вместе с тем часто и остро спорили, особенно во время туристских походов, когда работа и быт оставались позади и приходило время поговорить и помечтать о вечном. Я, например, считал Великую Октябрьскую социалистическую революцию абсолютным злом, а Арон находил в ней нечто положительное. Я связывал Ленина со Сталиным жесткой прямой линией первого порядка, но Арон предпочитал более сложные кривые высокого порядка. «Ленин никогда не был антисемитом, – возражал он и, наставляя меня на путь истинный, продолжал: – Твои эмоции по поводу культа личности и диктатуры Сталина отнюдь не доказывают ошибочность доктрины социализма. Сталинский режим был извращением социализма, социализмом без человеческого лица. Согласись, что в капитализме заложено нечто бесчеловечно жестокое...»

Как-то я принес Арону самиздатовский, на папирос-

ной бумаге, перевод книги нобелевского лауреата Фридриха Хайека «Дорога в рабство». В книге доказывалось, что национал-социализм в Германии и фашизм в Италии являются не «реакционной формой капитализма», как утверждали советские придворные историки, а развитым социализмом. Это было во времена, когда КПСС – «ум, честь и совесть нашей эпохи» – незаметным шулерским приемом в самый раз подменила лозунги скорого построения коммунизма словами об уже построенном развитом социализме. Население восприняло эту подмену с пониманием – мол, коммунизм, конечно, пошибче, но и социализм, тем более развитой, тоже неплохо. Впрочем, нужно признать, что в те времена уже очень многие воспринимали все эти лозунги о развитом социализме и коммунизме как недостойное внимания пропагандистское фуфло. Тем не менее книга Хайека не убедила Арона, он сказал: «Модели социализма, которые изучал Хайек, являются маргинальными его проявлениями. Они, как и сталинский социализм, не имеют ничего общего с классикой...» Я вспылил: «Твой классический социализм нетрудно лицезреть в ближайшем гастрономе, наблюдая попытки толпы социалистов отхватить полкило сосисок». Арон никогда не выходил из себя: «Не горячись и не своди серьезную проблему к дефициту сосисок...»

Он был мудрее меня – это особенно наглядно проявилось в выборе жен.

Я женился, будучи еще студентом. Однажды поздно но-

чью, после довольно пьяной студенческой вечеринки, взялся я проводить домой хорошенькую курносенькую сокурсницу Галю, которую на самом-то деле не ахти как и знал. Мы целовались в подъезде ее дома, когда Галя «проговорилась», что ее родители уехали в отпуск. Я немедленно настоял на символической «чашечке чая». Мы крадучись дошли до ее комнаты в огромной коммуналке, а дальше всё развивалось, конечно, без всякого чая по вполне стандартному сценарию... Под утро я также крадучись выскользнул из квартиры и с больной головой пошел домой отсыпаться, наивно полагая, что на этом ночное приключение закончилось. В институт я пришел во второй половине дня только потому, что в группе была зачетная лабораторная работа по сопромату, который не очень мне давался. Войдя в аудиторию, я обратил внимание на то, что Гали нет, парни едва здороваются со мной сквозь зубы, а девушки вообще отворачиваются. «Что случилось?» – тихо спросил я своего напарника по лабораторным работам. «Это у тебя надо спросить, что случилось, – ответил он. – Галю утром увезли на Скорой с какими-то непонятными болями внизу живота». Я взвился и сказал громко, чтобы все слышали: «Вы, друзья, совсем охренели. Я-то здесь при чем? Не надо преувеличивать мои достоинства!» Вечером того же дня выяснилось, что у Гали случился приступ банального аппендицита, меня неохотно реабилитировали, но осадок, как говорят, остался, и я поначалу вынужден был проявлять к ней повышенное внимание и заботу.

В атмосфере этой заботы мы продолжили наши свидания, а потом Галя забеременела...

Короче – я женился на ней, но этот брак был заведомо обречен. Мы были разными, мы были несовместимыми. Галя имела особое мнение по всем вопросам, причем всегда противоположное мнению собеседника, независимо от сути этого мнения – главное, чтобы не такое, как у других. Она начинала каждую фразу со слова «нет», даже в том случае, когда хотела сказать «да». «Нет, – говорила она, – вы, конечно, правы... Нет, я согласна с этим...» Меня это жутко раздражало, и я постепенно вообще начал избегать разговоров с женой, ибо после первых же сказанных мной слов, как правило, открывался неиссякаемый словесный фонтан с доминантной струей из «нет». Я вообще не люблю не умеющих слушать, а перебивающих меня невнимательных женщин – особенно. Мне кажется, что женственность непременно предполагает умение слушать и сопереживать. В Гале этого не было, и наш брак начал быстро увядать, в чем, вероятно, я тоже был виноват. Рождение дочери поначалу оживило его, но ненадолго. Мы развелись, разъехались, а последующее общение сводилось к редким разговорам по телефону в основном о нашей общей дочери Светланочке. Но однажды Галя без предупреждения – у меня тогда еще не было домашнего телефона – приехала ко мне на только что купленную кооперативную квартиру для «серьезного разговора», как она заявила. Далее она объяснила, что выходит замуж за военно-мор-

ского инженера и уезжает по месту его службы, что муж хочет удочерить Светланку и категорически против любого ее общения со мной. Она умоляла меня забыть о дочери: «Мы уезжаем далеко, я хочу начать новую жизнь и очень прошу тебя не искать нас и не тревожить Светлану – пусть у нее будет один-единственный отец». У меня не было контраргументов, и я вынужден был согласиться. Мы решили расстаться, если и не друзьями, то, по крайней мере, не врагами. Для закрепления договора Галя осталась у меня ночевать – она почти перестала использовать слово «нет». В сексе с бывшей женой, когда ты уже свободный человек, есть некоторый изыск... Под утро Галя призналась, что уезжает навсегда в Комсомольск-на-Амуре. Вот так я потерял свою дочь, а в остатке получил мощную инъекцию стойкой идиосинкразии к семейной жизни.

У Арона всё было иначе в основном благодаря Наташе – так мне хотелось бы думать. Признаюсь, я влюблен в эту женщину, влюблен тайно, бессмысленно, беспредметно, потому что... Ясно почему – я познакомился с ней, когда она уже была женой Арона. Об этом не знает никто, это глубочайшая тайна моей греховной личности, а догадывается, возможно, лишь сама Наташа. В любви, бесперспективной не только из-за отсутствия ответного чувства, но и вследствие категорической невозможности проявить свое собственное, есть невыразимое очарование. Вот я и живу с этим очарованием в душе и со всем остальным в теле... Наташа почти на десять

лет старше меня. Когда Арон познакомил меня, вчерашнего студента, с ней, я был ошеломлен зрелой красотой этой уверенной в себе, умной и тонкой женщины. Лишь потом я узнал, что представшее передо мной чудо создано Ароном – далекий отголосок древней легенды о Пигмалионе и Галатее. Правда, исходный материал у нашего Пигмалиона был ох как хорош – красавица из среднерусской глубинки, с длинными пепельными волосами и точеной рельефной фигурой, в которой расстояние от талии до пальцев ног составляло классические две трети – точно как у мраморного изваяния Галатеи.

Брак Арона и Наташи сам по себе был чудом. Коренной ленинградец, молодой перспективный ученый из еврейской семьи женился на русской девушке из провинции.

Родители Арона были убежденными интернационалистами, но... не одобряли женитьбу сына на русской. Отец после ухода из армии работал редактором в военном издательстве, а мать – учительницей русского языка и литературы. Они были стопроцентно ассимилированными евреями и по существу давно уже принадлежали к русской интеллигенции, но тем не менее что-то тревожило их в браке сына. Возможно, это было связано с той глубокой трещиной в пресловутом советском интернационализме, которая образовалась еще при Сталине во времена Дела врачей, а может быть, и с неудачным семейным опытом. Дядя Арона, брат его отца Моисей Кацеленбойгена, рассказывал, что чуть что не так, его рус-

ская жена вспыхивает и говорит, что, мол, «у вас, евреев, всё не так, как у людей» – правда, потом отходит. А однажды во время крупной ссоры она обозвала мужа жидом – сама испугалась и просила прощения. Дядя простил ее, но осадок остался. Родители Арона не мешали ему встречаться с Наташей, не отговаривали его, интеллигентно отмалчивались, сокрушенно вздыхая наедине друг с другом.

Родители Наташи – рабочие секретного завода в Арзамасе – тоже были интернационалистами и... тоже не одобряли такое замужество дочери. Интернационализм интернационализмом, а еврей – не русский, и еще неизвестно, чем всё это обернется. Они отнюдь не были антисемитами, близко общаться с евреями им вообще не пришлось. Наташины родители верили в разрекламированную по телевизору некую мифическую наднациональную «общность советских людей», но квазиинтернациональная политика партии и правительства, постепенно сползавшая в густопсовый шовинизм, давала недвусмысленное указание – с евреями что-то не так. Конечно, в теории все советские нации равны, но на практике, как говорил классик, в нашем «скотном дворе некоторые равны более других», а советские евреи как-то совсем выбыли из этой таблицы о рангах равенства. Не знаю точно, что творилось на той стороне квадрата, но, вероятно, родителям Наташи стало не по себе, когда они узнали новое имя своей дочурки – Наталья Ивановна Кацеленбойген. О таком и друзьям, и соседям рассказать затруднительно, и они отпра-

вились в Ленинград на свадьбу дочери, полные тревожного ожидания встречи со своими еврейскими родственниками.

Впрочем, свадьба Арона и Наташи прошла, как говорят, «в обстановке полного торжества советского интернационализма», все четыре точки квадрата отбросили «буржуазные предрассудки» и согласились, что независимо от национальности супругов «все счастливые семьи счастливы одинаково».

Эта фраза классика всегда казалась мне сомнительной. Взять, например, семью Арона и Наташи. Они были счастливы «не одинаково» с другими счастливыми семьями, они были счастливы особенно ярко, необычно, нетривиально, всеохватно... Сюжеты изящной словесности традиционно раскручиваются вокруг несчастливых семей, потому что о несчастьях писать легко – они возникают по всем понятным причинам и развиваются по ограниченному числу более-менее сходных завлекательных сценариев. Достаточно наделить героя или героиню каким-нибудь чрезмерно выраженным недостатком типа ревности, жадности, глупости, пошлости, сластолюбия, эгоизма, нарциссизма или еще какой-либо пакостью, и сценарий несчастливой семьи почти готов. Другое дело – счастливая семья, о ней так просто не напишешь, о ней поначалу, верхоглядно, вроде бы и писать нечего, а если задуматься, то оказывается сложным до невозможности такую семью описать, потому что причины счастья, в отличие от причин несчастья, не лежат на поверхно-

сти, а зарыты глубоко и недоступно в глубинах интимных человеческих отношений. Много в отношениях Арона и Наташи было выше моего понимания, наверное, потому, что в моих связях с женщинами всегда была заметная доля цинизма. Да, такая вот я сволочь... Подобно французскому классику, считаю, что «не следует заводить любовницу, которая не в состоянии изменить вам». Распространяется ли это правило на жен, я не знаю вследствие отсутствия позитивного опыта... Но что твердо знаю: меня удивляла преданность Наташи Арону, доходившая именно до той легендарной неспособности изменить ему. Я этого не понимаю, а то, чего я не понимаю, раздражает меня. Здесь, конечно, намешано многое – и мое тайное влечение к этой женщине, и ее недоступность для меня, и моя прагматическая убежденность, что в данной сфере ничего святого на самом деле нет... Такая вот мешанина из иррациональных эмоций и холодного рассудочного анализа, в конце концов, толкнула меня на подловатый поступок... Но об этом не сейчас, не хотелось бы начинать с самого плохого о себе, тем более что я сильно отвлекся от темы – нашей с Ароном подготовки к испытательному вояжу по морям и океанам.

Работали мы в то время много и увлеченно. Одно дело – лабораторное тестирование «Тритона» или его проверка на заводском полигоне поблизости, на Карельском перешейке, и совсем другое – всеохватные испытания в мировом океане. Далекie океанские дали и манили, и пугали – работает

ли всё, задуманное с таким размахом и замахом, справимся ли? А здесь еще – подготовка к заседанию Идеологической комиссии парткома, на которой мы с Ароном должны были продемонстрировать высокий идейно-политический уровень, равно как и готовность строго придерживаться генеральной линии партии на океанских просторах, особенно проплывая мимо мира капитализма. Арон велел мне вы зубрить, на всякий случай, имена руководителей коммунистических партий всех стран мира, как стихи. Я сказал: «Не вижу связи между именами глав компартий и испытаниями секретной аппаратуры связи с подводными лодками». Арон пытался разжечь мою убогую недиалектическую фантазию:

«Представь, проплываешь ты со своей аппаратурой мимо, например, Греции и терпишь бедствие. Тебя, полумертвого, вместе с остатками аппаратуры выбрасывает морской волной на берег... Обращаться к Черным полковникам за помощью ты, конечно, не станешь, а попробуешь получить поддержку греческих товарищей – тут-то и пригодится знание имени подпольного главы греческих коммунистов».

Те времена подготовки к кругосветному путешествию были временами надежд и радужных ожиданий, ярким солнечным светом, засветившим темные углы нашей жизни, – всё у нас получалось, всё работало, и мы сами словно излучали блески ума и юмора. Даже неумолимое приближение заседания Идеологической комиссии не могло отравить на-

шего оптимизма и радости успешного творчества. Однако, прежде чем рассказать об этом чрезвычайно серьезном событии, необходимо ввести в наше повествование несколько важных действующих лиц.

## Глава 2. Одесса

*Вероятно, уж никогда не видать мне Одессы. Жаль, я люблю ее...*

*Если бы можно было, я бы хотел подѣхать на пароходе... Встал бы перед рассветом, когда еще не потух маяк на Большом Фонтане, и один-одинешенек на палубе смотрел бы на берег... Я бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия, Малый; потом Лонжерон, а за ним парк – кажется, с моря видна издалека черная колонна Александра Второго. То есть ее, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе. Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватер, а это волнорез; Карантин и за ним кусочек эстакады – мы в Карантин и плывем... В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей... Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара... Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница, шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней; второй такой, кажется, нет на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над лестницей каменный Дюк – протянул руку и тычет в приезжего пальцем: меня звали дю Плесси де Ришелье – помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город...*

*Вправду смешной был город; может быть,*

*оттого смешной, что сам так охотно смеялся. Десять племен рядом, и все какие, на подбор, живописные племена, одно курьезнее другого: начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете... Постепенно стерли друг о друга свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа чепуха...; может быть, он прав, а может быть, и нет, убиваться не стоит...*

*С Марусей не на улице будет у меня свидание, мы сговоримся встретиться у меня в Луканиш...*

*А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют; и опять все будет, как тогда... только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово «ласка». Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов и музыка – все ласка. И Бог, если добраться до него... разбранить последними словами за все, что натворил, а потом примириться и прижать лицо к его коленям, – Он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется «женщина».*

*Потешный был город; но и смех – тоже ласка. Впрочем, той Одессы уже давно нет и в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду...*

***Владимир Жаботинский, «Пятеро»***



К этой части моего правдивого рассказа приступаю я с трепетом и наслаждением, ибо здесь надлежит мне, с одной стороны, отразить выдающуюся роль парткома в решении кардинальных проблем нашего ящика, а с другой – рассказать о двух женщинах и одном коте, имеющих к парткому и предмету нашего повествования самое непосредственное отношение и во времена сплошной серости достойных самого искреннего восхищения.

Что касается упомянутых женщин, то в силу своей бескомпромиссной приверженности правде вынужден признаться, что был близок с обеими и любил их одновременно, хотя и по-разному, причем прошедшее время здесь не признак угасшей любви, а, как вы скоро узнаете, трагическая необходимость... С одной из них вы уже поверхностно знакомы – это, конечно же, Екатерина Васильевна, которая в описываемое время была помощницей нашего партийного босса и центральной фигурой в сакральном помещении парткома, а главное – единственным украшением и главной притягательной силой этого помещения. При всем том она иногда пренебрегала партийными условностями и оставляла в запертом кабинете свою деловитость, чтобы тайком встретиться со мной в недоступном для партийного ока месте, каковым была моя однокомнатная холостяцкая квартира.

Поразительно, однако, не это, а то, что многие годы нашу связь удавалось скрывать не только от любознательной общественности и неформальной группы профессиональных стукачей, но и от двух церберов, ревностно следивших за Катиной нравственностью.

Одним из церберов, как нетрудно догадаться, был законный муж Кати по имени Сева. Превзойдя в порочной ревности всех своих классических предшественников, он отнюдь не достиг их монументального величия – да простит мне Господь эти слова о человеке, так плохо кончившем, увы, не без моего участия. Впрочем, как говорил не помню какой классик, «рогоносец – это не тот, кому жена изменяет, а тот, кто думает, что нет, не изменяет». Всеволод Георгиевич, судя по всему, не имел чрезмерных иллюзий относительно поведения своей роскошной жены, бывшей, ясное дело, его главным жизненным достижением.

Другим блюстителем Катиной нравственности был уже знакомый читателям секретарь парткома Иван Николаевич – ее непосредственный начальник. Он и Всеволод Георгиевич приятельствовали еще со студенческих времен, но работали в разных почтовых ящиках, что, с одной стороны, затрудняло координацию усилий по слежению за нравственным обликом объекта наблюдения, но, с другой стороны, расширяло зону обзора. До поры до времени никто из них не удосужился сопоставить отлучки Кати в магазины, к косметичке и по другим дамским делам с графиком моих местных коман-

дировок, и я счастливо оставался вне зоны подозрений. Этому неведению церберов способствовала их взаимная подозрительность, отвлекавшая от поисков истинного источника Катенькиной безнравственности.

Собственно говоря, разумным было только одно направление подозрений – естественное опасение мужа относительно начальника его жены, который, используя свое служебное положение, вполне может... и так далее по умолчанию... Нужно, однако, сказать, что это опасение Севы было абсолютно беспочвенным. Конечно, когда изменчивая мода открыла миру прелестные ножки Екатерины Васильевны несколько выше колен, Иван Николаевич не мог отказать себе в удовольствии поглядывать на них, но не более того... Во-первых, наш партийный босс давно зарекся крутить служебные романы – он поднялся столь высоко отнюдь не для того, чтобы сверзиться с вершины из-за каких-то ножек. Во-вторых, такого рода историю не удалось бы скрыть при всем желании от его жены Валентины Андреевны, кабинет которой располагался хоть и за двойной металлической дверью, но в том же коридоре, что и партком. И, наконец, в-третьих, Ваня седьмым чувством осознавал – такая женщина ему не по зубам. Удивительные метаморфозы вытворяет с нами природа – мужской интерес Ивана Николаевича к ножкам Екатерины Васильевны сублимировался в желание быть ее опекуном, наставником и хранителем женской чести. Отсюда вытекали его анекдотические контрпретензии к Ка-

тиному мужу Севе. Если Сева опасался, что Ваня рано или поздно переспит с Катей, то Ваня, напротив, подозревал, что Сева делает это недостаточно эффективно, тем самым толкая Катю в развратные руки ненавистных бабников, которым всё дается слишком легко. И нужно признать, что Ванины опасения были вполне основательными. Они базировались не только на его личных наблюдениях, но и на информации, полученной от Валентины Андреевны, которая по долгу своей службы знала многое обо всём на свете, но... к счастью, не всё...

Как Валентина Андреевна упустила из виду нашу с Екатериной Васильевной историю – ума не приложу. А может быть, делала вид, что упустила?

Наш роман начался еще до Катиного замужества и состоял из романтической и прагматической частей. В романтический период я был влюблен в Катю, совершал безумства, долго и упорно добивался ее близости, а она столь же упорно уклонялась от этого. Потом, когда я добился своего и мы в некотором роде поменялись ролями, наступил пронизанный реализмом прагматичный период. В общем, это длинная история – если останутся место и желание, расскажу как-нибудь подробнее... В описываемое время наш роман вылился в регулярные тайные свидания. Один мой приятель, склонный к материалистическому философствованию, утверждал, что любовь – это когда всё время хочешь женщину, причем всё время одну и ту же. Нечто подобное проис-

ходило со мной по отношению к Катеньшу. Особую остроту моему влечению придавала ее двойственность, контрасты ее поведения и облика. На службе Екатерина Васильевна была строгим, деловитым и жестким партийным работником, неприступной партийной крепостью, хозяйкой заведения, не допускавшей ни малейшей фривольности. У меня в квартире она становилась ласковой, нежной, покорной и страстной в любовной игре женщиной с врожденным чувством такта. На работе мы виделись нечасто – только чрезвычайные обстоятельства могли привести меня, беспартийного, в партком. Но стоило увидеть Екатерину Васильевну в деловом облике, как меня охватывало острое желание... немедленно обратиться к ней в нежного и страстного Катеньша...

Единственным живым существом, знавшим абсолютно всё о нас с Катей и вполне одобрявшим то, что знал, был Томас. Сэр Томас имел британские корни и выдающуюся внешность – безукоризненно серый с голубым отливом окрас, янтарно-желтые глаза на слегка курносой крупной голове с аппетитными щечками и большие сильные лапы, один вид которых пресекал намерения фамильярничать с ним. Сэр ценил свое аристократическое происхождение, категорически не позволял брать себя на руки, пренебрежительно избегал всевозможных поглаживаний посторонними лицами, брезгливо относился к продуктам советского общепита и никогда не попрошайничал у стола. Томас также решительно отказался справлять свои естественные потребности в общем со

мной туалете. Дело в том, что у меня, к счастью, была квартира с так называемым «раздельным туалетом», который появился благодаря неусыпному вниманию партии к нуждам трудящихся еще во времена предыдущего вождя – Никиты Хрущева. Поначалу этот «выдающийся деятель мирового движения» строил для рабочего класса и советской интеллигенции квартиры с «совмещенным туалетом», но однажды, побывав в такой квартире, распорядился отделить ванну от унитаза перегородкой так, чтобы два члена семейного коллектива могли их использовать одновременно. При этом харизматичный Никита произнес историческую фразу, вызвавшую волну патриотического подъема у населения: «Русский человек не может мыться и срать в одном и том же помещении». Томас, по-видимому, не был согласен с Секретарем ЦК КПСС и настоял, чтобы для того деликатного процесса, который Секретарь обозвал не вполне деликатно, ему был выделен уголок именно в ванной комнате, где было бы удобнее наблюдать, насколько тщательно я всё это убираю. Вообще, Томас считал себя хозяином квартиры, а меня рассматривал в качестве обслуживающего персонала – нечто вроде батлера в доме английского лорда. Впрочем, он по-своему ценил и даже любил меня, спал со мной на общей тахте – сначала с урчанием у меня на правой руке, а затем, когда я засыпал, в избранном им углу тахты. Несомненный аристократизм сочетался у Томаса со скверным, склочным характером. Он на дух не переносил всех моих гостей, осо-

бенно женщин, в которых справедливо усматривал потенциальную угрозу – быть вытесненным со своего места на тахте или, того хуже, быть выдворенным на ночь в коридор. Если последнее действительно случилось, Томас всю ночь упорно скребся в дверь и утробно постанывал – это было ужасно, и не все дамы соглашались предаться страсти в подобных условиях. Катя была исключением – Томас признавал ее третьим допустимым лицом в доме, позволял гладить себя, терся об ее ноги, вел себя вполне прилично и, даже выставленный за дверь, молча терпел вынужденные неудобства. По-видимому, он связывал с Катей неотвратимость этих неудобств, а еще был искренне благодарен за то, что она не занимает его место на тахте по ночам.

Размышления о наших с Томасом семейных отношениях невольно переводят стрелку повествования на вторую из упомянутых выше женщин – Аделину, на которую он злобился и шипел так, что мне пришлось отказаться от свиданий у себя дома с этой едва ли не главной героиней нашей истории.

Аделина – яркая, коротко стриженная брюнетка с интригующими формами и с полными капризными губами на беломраморном лице – появилась в нашем ящике незадолго до описываемых событий в качестве технического редактора в патентно-издательском отделе. Я не раз общался с ней по своим изобретательским делам, признаюсь, не без удовольствия – с Аделиной было о чем поговорить. Она окончила

филфак университета, ничего, естественно, не понимала в технике, но была знатоком литературы, а главное – блестяще владела русским и английским языками. Благодаря ей наши корявые и подчас малограмотные описания технических решений приобретали вполне пристойный литературный вид, а ее переводы американских научных публикаций безусловно тянули бы на русскую классику, если бы не касались столь приземленных тем.

О появлении Аделины в нашем ящике ходили разные сплетни; все они более или менее сходились на том, что некий высокий покровитель с понятной мотивацией протасил ее в ящик чуть ли не через горком партии – здесь она, конечно, получила зарплату намного выше средней зарплаты советского филолога. Забегая вперед, могу сказать, что на самом деле Аделину устроил к нам один известный и влиятельный ленинградский адвокат, о котором рассказ еще впереди, но он никогда не был ее любовником. Здесь, конечно, Валентина Андреевна, отвечавшая за прием новых сотрудников на секретную работу, дала зевка, который еще отзовется и ей, и не только ей...

Как бы то ни было, Аделина произвела настоящую сексуальную революцию в нашем богоугодном заведении, причем отнюдь не своим поведением, а скорее своим обликом и манерами современной, образованной, раскованной, самодостаточной, короче – свободной женщины. Одевалась она экстравагантно, но не вызывающе: высокие, элегантные, яс-

ное дело – заграничные, сапожки облегали ноги почти до колен, а юбка заканчивалась чуть выше колен; образовавшийся между сапожками и юбкой просвет почему-то резко подорвал моральные устои едва ли не половины наших сотрудников, утомленных моралью советского человека, в которой не было места такому понятию, как секс. Сексапильность Аделины усиливали ее губы, а главное – большие черные глаза, иронично оценивающие всё окружающее. Я затрудняюсь словами описать воздействие этих глаз – это было нечто вроде затягивающего омута... Эх, чего греха таить, лучше классика не скажешь – «в них окаменело распутство».

Возможно, это было случайным совпадением, но с появлением Аделины в нашем в целом «здоровом советском коллективе» усилились всевозможные «сексопатологические явления», начиная от едва заметной сексуальной озабоченности и кончая скандальными эпизодами сексуальной распущенности. Именно в те замечательные времена благодаря бдительности самого Митрофана Тимофеевича Шихина, не чуждого прогрессивным веяниям времени, появился знаменитый и вошедший в анналы приказ «О недопущении использования секретной машинистки в несекретной комнате и несекретной машинистки в секретной комнате». Приказ был выдержан в строго деловом тоне, обязующем всех неукоснительно соблюдать правила работы с секретными документами, но все знали, что его подоплекой был эпизод, не имевший никакого отношения к секретности. Начальник

лаборатории Аникеев устроил прощальную гастроль с имевшей допуск к секретным материалам машинисткой прямо на письменном столе своего несекретного кабинета. Можно было бы, конечно, порадоваться успехам нашей отечественной мебельной промышленности – ее изделие, предназначенное для творческого труда одного лишь Аникеева, выдержало темпераментный напор сразу двух отнюдь не сублильных персон. Однако пикантность этого достижения осложнялась тем прискорбным обстоятельством, что бурный секс на письменном столе начальника имел место накануне свадьбы молодой дамы с инженером из соседней лаборатории, который был своевременно вызван к месту происшествия информированными «доброжелателями». Скандал удалось замять, но адмирал был в ярости и подготовил приказ без названия, начинавшийся следующими эпическими строками: «В последнее время участились случаи половых сношений на территории предприятия». Использованный адмиралом глагол «участились», конечно, придавал его приказу особую выразительность, подтверждающую высокую степень осведомленности руководителя, но мог повлечь и неприятные последствия... Екатерина Васильевна утверждала, что только благодаря противодействию Ивана Николаевича, еще не потерявшего чувства меры, этот опус не был обнародован. В итоге приказ об «участившихся сношениях» был заменен более мягким распоряжением о «недопущении использования...» и так далее по тексту...

Аделина, конечно, не имела к данной активности начальства никакого отношения, но, вполне вероятно, сыграла роль возбуждающего вируса в потерявшем иммунитет организме. Я склонен считать, что красивая женщина в делах подобного рода виноватой быть не может – виноваты те, кто не способен справиться со своим комплексом неполноценности и вести себя адекватно в ее присутствии.

Броская красота Аделины не в моем вкусе, но объективность выше вкуса... Тем не менее долгое время наши отношения оставались чисто дружескими и ограничивались в основном деловыми разговорами в патентном отделе. У нас был общий интерес к литературе, но возможность поговорить подробно всё не представлялась. Я не клеился к ней подобно многим коллегам, а, напротив, подчеркивал свою дружескую симпатию и понимание испытываемого ею дискомфорта от однообразного домогательства мужского окружения. Инициатива нашего первого бурного любовного свидания принадлежала Аделине. Впоследствии при совсем иных обстоятельствах, о которых разговор впереди, я узнал, что она была во времена того свидания в депрессии, вызванной разрывом с любимым человеком – поэтом, ставшим позже знаменитым. Он фактически бросил ее, и свидание со мной имело место по принципу «клин клином вышибают».

Однажды, в разгар петербургских белых ночей, выхожу я с работы к своим «Жигулям», право на покупку которых получил в качестве премии за одну из наших разработок, и вижу

рядом с машиной Аделину, разговаривающую с приятельницей...

Написал я про «Жигули» и опять споткнулся – это же мало кому понятная фраза! Человек XXI века, живущий, дай бог ему здоровья, в условиях развитого капитализма, думает, что так было всегда и что для покупки автомобиля нужны только деньги или кредит от банка и больше ничего – пришел, выбрал, заплатил, сел за руль и уехал. Ему и в голову прийти не может, что во времена развитого социализма квоты на покупку автомобилей распределялись по предприятиям, и право купить машину давалось в исключительных случаях за ударный труд, примерное поведение, успехи в боевой и политической подготовке или, наконец, просто по благу... Угадайте с трех раз: кто распределял машины? Всё равно не угадаете, и не надо... Назовем этих «распределителей» обобщенно – начальство, ездившее на служебных машинах с шофером. Советские «Жигули», «сдернутые» с устаревшего итальянского «Фиата», были в те времена мечтой «всего прогрессивного человечества» в границах социалистического лагеря.

Итак, вижу я Аделину и жестом показываю, что могу подвезти. Она быстро с приятельницей прощается и садится в машину, сверкая голыми коленками. У меня к женским коленкам отношение отнюдь не безразличное, непростое, нелегкое отношение... но я себя сдерживаю, не завожусь, а, напротив, завожу машину и спрашиваю строго,

без малейшей игривости: «Куда вас отвезти?» Последовала несвойственная Аделине длительная пауза, а затем еще более несвойственный наступательной манере ее речи ответ: «Везите, куда хотите». У меня хватило такта ничего больше не спрашивать – я врубил скорость и погнал машину через Петроградскую сторону по Приморскому шоссе к Щучьему озеру. Некоторое время мы молчали, обдумывая происшедшее, от которого теперь никуда не уйдешь. Я прикидывал правильность своего мгновенного решения ехать на Щучье. Там есть укромные тенистые подъезды, скрытые от посторонних глаз, – такие «милости природы», доставшиеся просто советскому люду бесплатно, в компенсацию за невозможность снять номер в гостинице. Кроме того, на случай, если я неправильно понял свою спутницу, там на Щучьем всегда будет возможность свести всё к прогулке по тем же «милостям природы». Но я, на самом деле, всё понял правильно... Аделина первой прервала молчание.

– Вам нравятся стихи Осипа Мандельштама?

– Я слышал кое-что о нем, но никогда, признаться, не читал. Ведь его, кажется, в наше время не публиковали.

– Мандельштама фактически убили на пересыльном пункте гулаговского Дальстроя под Владивостоком в сталинские времена и запретили его стихи. Вы хотели бы их почитать?

– Не откажусь. Но предпочитаю стихи слушать – тогда лучше воспринимаю музыку поэзии.

– Ну, что же, извольте...

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,  
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей  
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,  
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! Я еще не хочу умирать!  
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок  
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.

– Вы замечательно читаете, я уловил несколько удивительных образов. Похоже, автор не очень жаловал Питер.

– Прямо наоборот, он очень любил Петербург, считал его своим городом, всю молодость провел здесь, учился, между прочим, на филфаке университета, на том же знаменитом

филфаке, что и я, но только в его лучшие времена.

– Однако у него звучит явное опасение смерти именно в Ленинграде...

– Это гениальное предвидение поэта, он невольно сравнивал Петербург времен Башни Вячеслава Иванова, где часто бывал, с Ленинградом и ужасался...

Когда мы приехали к Щучьему, я знал о поэте Мандельштаме, кажется, всё, что только может знать дилетант. Белая петербургская ночь спускалась с поблекшего неба, туман стелился над водой, а в глухих уголках под листвой собиралась темнота. Было тихо, туманно, загадочно... Мы даже не выходили из машины... Это было остро... Это было очень остро... Честно говоря, не хочу ни обсуждать, ни пытаться описать детали происшедшего – я ведь эгоист, и то, что тогда пережил и ощутил, это мое и только мое... К слову, кто-нибудь знает литературное описание подобного события, которое, возвышаясь над грубой физиологией, отличалось бы небанальной подлинностью чувства и не вызывало отторжения? Если «да», то поделитесь – мне такого не встречалось. Одно могу сказать, увы, отнюдь не оригинальное, а словами классика – «Всё, что есть на свете хорошего, всё ведь это ласка... А лучшая и светлейшая ласка называется женщиной».

Мы возвращались в город за полночь. Словно под мое настроение по радио передавали джазовые вариации «Серенады лунного света» Глена Миллера, а потом серенаду исполнил в своей неповторимой манере Муслим Магомаев. Я гнал

машину по пустому шоссе, держа правую руку на колене своей спутницы – теперь я имел на это право... потому что был левшой. То ли от живого тепла этого трепетного колена, то ли от свежей струи ночного балтийского воздуха из полуоткрытого окна, то ли от той нежной, тягучей и страстной лунной мелодии, а скорее, от всего вместе поднималась во мне волна всепоглощающего счастья, такого полного счастья, которое случается только в юности, не знающей забот и тревог. Я не помнил, чтобы такое бывало со мной прежде, я даже дышать стал глубже и свободнее. Это было счастье любви, молодости, силы и успеха. Оно переполняло и распирало меня, мне казалось, что в эту белую ночь я способен немедленно взлететь навстречу светлым шпилям прекрасного города, навстречу своей грядущей удаче. Я держу руку на колене любящей меня красивой женщины – несбыточной мечты многих, и ко мне пришел необыкновенный творческий успех, который вот-вот завершится мечтой всей жизни – кругосветным путешествием.

– Я скоро уеду в долгую командировку, может быть, на полгода. Ты была когда-нибудь в Одессе?

– Я не бывала там никогда. Ты едешь на полгода в Одессу?

– Не могу тебе сказать, куда я еду, но командировка начинается в Одессе. Это прелестный город, давай поедem туда вместе.

– Как ты это себе представляешь, друг мой? Ты собираешься окончательно угробить мою девичью репутацию?

– Я еще не представляю, как... Просто подумалось, что для полного счастья мне нужно быть в Одессе вместе с тобой.

– Ты едешь в командировку один?

– Нет, с большой командой...

– Теперь я вижу, что ты счастлив до одури, спасибо за это – я ценю...

– Я бы мог поехать в Одессу на неделю раньше остальных...

– А я возьму отпуск на ту же неделю и поеду вместе с тобой, не так ли? Ты не боишься, что в парткоме и других органах подсчитают, как вы все пишете в своих статьях, «вероятность такого совпадения»?

– Я сейчас ничего не боюсь...

– Может быть, заедешь ко мне домой, чтобы выпить холодного лимонада для охлаждения приступа героизма?

Я крепко сжал рукой ее ногу чуть выше колена и ничего не ответил...

Конечно, не следовало бы выписывать подобную литературщину о внезапно пришедшем чувстве полного счастья, если бы я сам тогда и потом не удивлялся сто раз чудесному и единственному его появлению, и еще – если бы вскоре, в ту же ночь, не случилось со мной настоящее чудо, чудо озарения...

В те дни мы с Ароном бились над алгоритмом оптимального приема весьма специфического «тритоновского» сигнала.

ла. То есть, конечно, некий алгоритм был в «Тритоне» уже реализован, но мы понимали – в тяжелых условиях на многотысячекилометровой дистанции он может не сработать. Мы считали, что его нужно и можно улучшить, довести до предела совершенства. Мы искали решение проблемы, которую между собой называли «проблемой Саймона» по фамилии американского ученого из Калифорнии. Саймон, судя по его публикациям, разрабатывал системы радиосвязи с объектами дальнего космоса, но мы понимали, что, с точки зрения теории, у него и у нас очень сходные задачи. Арон говорил: «Чтобы найти решение задачи, нужно думать о ней всё время, и решение рано или поздно придет». Я так и делал, но решение не приходило, а времени до испытаний у нас оставалось в обрез...

Я довез Аделину до ее дома в одном из старых переулков Петроградской стороны.

– Прости, но я, к сожалению, не пью лимонад, даже холодный. Сэр Томас просил пригласить тебя к нам на коктейль в любое удобное тебе время. Мы с ним будем ждать...

– Приглашение сэра принимается с благодарностью. Прощай, милый друг...

Мы расстались, и я поехал к себе домой через весь город в Московский район. У Кировского моста через Неву уже стояли милицейские машины, готовые перекрыть путь на мост перед его подъемом. Мне удалось проскочить на мост одним из последних. Слева уже упирался сигнальными огнями в

светлое небо огромный разводной пролет Литейного моста, справа по Дворцовому мосту еще двигались машины. Есть места, к красоте которых нельзя привыкнуть, – таков гигантский разлив Невы у стрелки Васильевского острова с видом на Биржу и Ростральные колонны, с дворцами вдоль набережной и пронзающим сумерки шпилем Петропавловского собора. На съезде с Кировского моста на Марсово поле пришлось остановиться у красного светофора.

В голове крутились отрывочные всплески картин, звуков и запахов этого удивительного дня – испытания «Тритона», белая петербургская ночь, стихи Мандельштама, губы Адельины, контуры и теплый мрамор ее белого тела в темном интерьере автомобиля, запах прибрежной мокрой травы и свежий ветер Финского залива... И внезапно из этого беспорядочного конгломерата образов и ощущений возникло однозначное решение «проблемы Саймона» – безупречный новый алгоритм декодирования, наглядная схема из квадратиков физических блоков с определенными математическими операциями внутри каждого из них. Когда загорелся зеленый свет, я уже знал, как мы будем программировать новый блок «Тритона». Я не могу дать материалистического объяснения этому феномену, я не могу понять, как мои долгие и, казалось бы, бесплодные раздумья над сложнейшей проблемой без всяких усилий мгновенно сфокусировались в столь ясное решение, каким образом за одну минуту между красным и зеленым светом светофора из какой-то несуд-

светной мешанины образов сложилось блестящее математическое решение. Думаю, что даже синклит философов, владеющих всей премудростью диалектического материализма, не ответит на эти вопросы. Оставшуюся некороткую дорогу до дома я старался ни о чем больше не думать, чтобы, не дай бог, не расплескать светлую идею, подсказанную мне самим Провидением в одном из красивейших мест на планете. Я торопил время, мне не терпелось дожидаться утра и выложить идею Арону. «Так никто не делает», – скажет Арон, а я отвечу ему знаменитой сентенцией классика: «Все знали, что это невозможно. Потом однажды пришел человек, который этого не знал. И он сделал это». И тогда Арон воскликнет: «И этот человек – Игорь Алексеевич Уваров!» Я не тщеславен, но всегда стремился получить высокую оценку именно от Арона, потому что его оценка никогда не была комплиментарной. Теперь такая оценка мне особенно нужна – она будет подтверждением правильности решения Арона взять меня в кругосветное путешествие.

Дома, несмотря на категорические протесты проголодавшегося Томаса, я немедленно бросился к письменному столу, чтобы материализовать на бумаге свое сошедшее с неведомых белесых небес озарение. Спал я в ту ночь мало, плохо и тревожно – в восьмом часу утра меня разбудил звонок Арона.

– Где был всю ночь наш Казанова, кого он ныне услаждал? – спросил Арон белыми стихами.

– Науку Казанова услаждал, проблему Саймона решая, – ответил я спросонья, но тоже белыми стихами.

– Это что-то новое и в науке, и в сексе! В чем же ты преуспел в большей степени? – продолжил Арон прозой.

– Можешь усиленно завидовать, ибо я преуспел и в том, и в другом... Если серьезно, Арон, то я действительно решил проблему Саймона, у меня нет на этот счет ни малейших сомнений.

– Не шути с серьезными вещами. Что ты подразумеваешь под словом «решил»?

– А ты не вынуждай уважаемого лейтенанта госбезопасности тратить заграничную магнитофонную пленку на запись нашего разговора. Встретимся на работе – всё расскажу. По дороге обдумай вот что – я предлагаю на последнем этапе применить итеративный алгоритм декодирования Галлагера на основе мягких решений... Доброе утро, лейтенант!

В 9:00 я был на работе и к приходу Арона успел нарисовать на доске схематическое объяснение нового алгоритма. «Вот смотри, – начал я, когда Арон вошел в мою комнату, – здесь выходной сигнал демодулятора...» Арон слегка отстранил меня от доски и поднял указательный палец левой руки – мол, помолчи, я сам... Не помню, сколько времени ему понадобилось, чтобы разобраться в сути идеи, но мне казалось, что прошла вечность. Наконец он оторвался от доски, посмотрел на меня и после долгой, мучительной для меня паузы хрипло, как будто пересохшим горлом, ска-

зал: «Это здорово сильно, Игорь, это вытянет сигнал из-под чудовищных помех, это победа... Это нужно успеть сделать во что бы то ни стало... Если хочешь, я дам тебе программистов и электронщиков из моей группы». У меня перехватило дыхание, но я ответил сдержанно: «Дай мне Гуревича – только он может подвести под это строгую математическую теорию. Я ожидаю выигрыш в шесть децибел, но это еще нужно доказать». Арон одобрительно хлопнул меня по плечу: «Получишь Гуревича и всё, что захочешь, впридачу – ты заслужил. Кстати, Гуревичу очень нужны экспериментальные данные для докторской – у нас будет возможность проверить его математику». Потом он подмигнул мне и весело добавил: «До отъезда нужно кровь из носа оформить заявку на изобретение. Я позабочусь, чтобы тебе в помощь дали Аделину. Не возражаешь?» Не дожидаясь моего ответа, он, довольный собой и всем на свете, направился к выходу, но у дверей остановился, обернулся и сказал: «Да, чуть не забыл, тебя вчера вечером искала Екатерина Васильевна. Она сказала, что партком будет рассматривать наше с тобой дело ровно через неделю».

Какая же я все-таки скотина – совсем забыл о Катеньше!

Вспомнил о Кате и подумал, что, наверное, не выполнил своего обещания – «отразить выдающуюся роль парткома». Хотя, с другой стороны, возможно, по-своему и отразил, ибо при нынешнем раскладе партия ответственна за всё происходящее в нашей жизни, в том числе за то, что я с такой

откровенностью неосмотрительно раскрыл... И если, например, наш партком не озаботился абсолютно несоветским поведением сэра Томаса, которое я, конечно, не одобряю, то исключительно по причине занятости более важной проблемой. Действительно, представьте себе, что большая группа подведомственных вам сотрудников собирается в кругосветное путешествие по чуждым морям и океанам в сплошном капиталистическом окружении и вам надлежит одобрить или, напротив, отклонить кандидатуру каждого из них. Вникните – каждого! Волосы дыбом... А если кто-нибудь сойдет с ума и, не дай бог, убежит? Какая это чудовищная ответственность перед вышестоящими райкомом, горкомом, обкомом и далее... – даже страшно произнести... Бремя такой ответственности, конечно, в основном легло на плечи Ивана Николаевича. Он-то хорошо знал, с кого спросят при случае, хорошо изучил жесткую партийную цепь, ведущую из его кабинета наверх вплоть до самой Старой площади в Москве. Партийные пешки в этой цепи по мере продвижения вверх становились ферзями, от которых зависело всё внизу.

Хорошо было, когда по цепи сверху спускали приказ – он подлежал исполнению неукоснительному и безоговорочному, и это было легко... Приказ начальства мы привыкли исполнять с энтузиазмом, радостно, каким бы он, приказ, ни был: «Партия велела, комсомол ответил: „Есть!“». А дальше, как говорил классик, «знать, оттого так хочется и мне, задрав

штаны, бежать за комсомолом».

Трудно было, когда приказ фактически отсутствовал и предстояло принимать решение на свой страх и риск. Тогда нужно было уловить натренированным ухом неясные звуковые колебания, почувствовать партийным нюхом содержимое еще не вполне обозначенных дуновений и не промахнуться, не фразернуться, не облажаться – как там еще у нас говорят... Иван Николаевич знал: парткомиссия, конечно, прозаседает, но решение придется принимать ему и отвечать тоже... Его задача осложнялась еще той тонкой интригой, которую он плел вокруг Генерального директора. По сценарию следовало деликатно и незаметно подставить Генерального, а самому выйти сухим из воды. Эта опасная игра была много сложнее даже гроссмейстерской шахматной партии – в ней было несколько противостоящих Ивану Николаевичу ферзей не только в парторганах, но и в министерстве, и у всемогущего военного заказчика, и в госбезопасности. Ему предстояло решить задачу со многими неизвестными, задачу почти неразрешимую, но он верил в свою звезду, милостью природы для него зажженную...

## Глава 3. Стамбул-Константинополь

*В 532 году во время народного мятежа в Константинополе была сожжена заложенная еще Константином Великим церковь Святой Софии, а император Восточной Римской империи Юстиниан едва не лишился власти и жизни. Поэтому, когда восстание удалось подавить, счастливый владыка по совету своей жены, бывшей актрисы и куртизанки, красавицы Феодоры решил построить на месте разрушенной церкви новый храм такой красоты и величия, каких еще не видел мир, тем более что план храма, по признанию императора, был вручен ему во сне ангелом – посланцем Главного Архитектора и Творца Вселенной. Порешив так, Юстиниан пригласил для исполнения Божественного замысла знаменитых архитекторов – Исидора из Милета и Анфимия из Тралл, и началось великое дерзание.*

*Десять тысяч человек, истратив все доходы Империи за 5 лет, построили новое чудо света из античных колоннад Рима, Афин и Эфеса, из белоснежного, светло-зеленого, красного и розового с прожилками мрамора, из порфира и яшмы, и, конечно же, из золота, в расплавленную массу которого погружали ониксы, топазы, жемчуг, аметисты, сапфиры и рубины, построили, замешивая известь на ячменной воде, а цемент – на масле.*

*И в день освящения храма на Рождество 537*

года у людей перехватило дыхание и душа рванулась к небесам, когда, отражая гармонию мироздания, им предстал во всем своем сказочном великолепии пронизанная светом прекрасная Айя София, в центре которой властитель могущественной Византии император Юстиниан в роскошных одеждах, вознеся руки к гигантскому куполу храма, воскликнул: «Слава Богу, который дал мне возможность построить это чудо из чудес! О, Соломон! Я превзошел тебя!»

### ***Извлечение из исторической хроники***

Ровно через тысячу лет после того, как Рим был разграблен вандалами, начинается грабеж Константинополя. Верный своим клятвам, сдержал слово Мухаммед, свирепый победитель. После первой резни он без разбору отдает в руки своих солдат военную добычу: дома и дворцы, монастыри и церкви, мужчин, женщин и детей, и, словно дьяволы преисподней, мчатся турки тысячами по улицам... наряду с грабежом свирепствует бессмысленное разрушение... они уничтожают ценнейшие картины, раскалывают молотками великолепные статуи, а книги, в которых заключены мудрость веков, бессмертное сокровище греческой мысли и поэзии, сжигаются...

Лишь во вторую половину дня, ознаменованного великой победой, когда побоище уже кончилось, сворачивает Мухаммед свой въезд в завоеванный город... Больше пятидесяти дней жадно взирал он из своей палатки на поблескивающий недоступный купол Святой Софии; теперь он, победитель,

имеет право перешагнуть через порог ее бронзовых дверей... Султан смиренно спешивается и склоняется до земли в молитве. Затем он берет горсть земли и посыпает ею голову... Лишь потом, показав богу, как он смиренен, султан резко выпрямляется и вступает – первый слуга аллаха – в храм Юстиниана, в храм священной премудрости, в храм Святой Софии...

С любопытством и волнением разглядывает султан великолепное здание, высокие своды, поблескивающие мрамором и мозаикой, хрупкие арки, вздымающиеся из сумрака к свету... На следующий день мастеровые получают приказ убрать из церкви все знаки прежней религии; сносятся алтари, замазываются благочестивые картины из мозаики, и высоко вознесенный крест на Святой Софии, в течение тысячи лет простиравший свои руки, чтобы охватить всё земное страдание, с глухим стуком падает наземь.

Громким эхом отдается звук в храме и далеко за его стенами. Ибо от этого падения содрогается весь Запад...

**Стефан Цвейг, «Завоевание Византии»**  
(29 мая 1453 года)

Если плыть из Черного моря в Мраморное по знаменитому проливу Босфор, то по левому борту будет Азия, а по правому – Европа. Недоверчиво смотрят в глаза друг другу через узкий пролив два великих континента. Здесь сошлись они когда-то в жестокой схватке, которая закончилась поражением Европы, катастрофой

для восточного христианства и триумфом для ислама... Тем временем по мере движения корабля открывается вид на огромный город с тысячью минаретов, бывший сначала Константинополем – столицей Византийской империи, а потом ставший Стамбулом – столицей Османской империи. А на выходе в Мраморное море, сразу за красивейшим заливом Золотой Рог, на холме возникают рядом стоящие величественные храмы – обшарпанная снаружи и разграбленная, исковерканная внутри главная церковь Православного христианства Айя София и торжествующая мусульманская Голубая мечеть.

И если бы властитель могущественной Византии император Юстиниан мог снова, как и полторы тысячи лет назад, вознести руки к гигантскому куполу когда-то роскошной Айя Софии, то он, наверное, горестно воскликнул бы: «О, Господи! Зачем Ты, Главный Архитектор и Творец Вселенной, вручил мне план этого великого Храма? Зачем сподобил меня построить это чудо из чудес, пребывающее отныне в ничтожестве и унижении?»

\* \* \*

Рассказ о заседании Идеологической комиссии парткома, на котором «беззаветно преданные делу партии» члены должны решить чрезвычайно важный партийный вопрос –

пускать ли нас с Ароном в заграничную командировку, а если пускать, то обоих или только одного, и если одного, то кого, или, наконец, никого не пускать – снова откладывается по техническим причинам. Не заседание откладывается, конечно, а рассказ о нем, ибо рассказ этот будет малосодержательным без более подробных сведений об Иване Николаевиче.

История жизни нашего партийного начальника Ивана Николаевича Коробова – большой роман-триллер, по сравнению с которым известные из классиков приключения провинциалов, приехавших покорять свой Париж, напоминают разбавленный сладеньким чаем коньяк. Если бы автор этих строк имел литературный талант, а пуще того, хотя бы минимальный интерес к писательству, то, конечно же, составил бы по живым следам этот роман под названием «Красное между черным и белым» – ведь и придумывать ничего не надо, пиши, что и как всё было, без малейшего художественного вымысла, который сводил с ума классиков. Поскольку, однако, ни таланта, ни интереса нет, то ограничусь сухим изложением фактов со своими натужными комментариями.

Молоденький Ванечка приехал в большой столичный город из глухой деревни Щелино, что в Новгородской области где-то на полпути между двумя российскими столицами. Деревня эта была давно разорена не столько трехлетним нашествием немецких полчищ – от всякой войны можно оправиться, сколько четвертьвековой хитромудрёной политикой

нашей партии и ее бессменных вождей в области сельского хозяйства. Как известно, разногласия российского крестьянства с советской властью по аграрному вопросу были концептуальными – каждая из сторон желала закопать в землю другую сторону. Сталинские специалисты по этому вопросу победили – поначалу они раскулачили Ваниных предков, то есть ликвидировали их как класс, затем коллективизировали оставшихся в живых Ваниных родителей, то есть отняли остатки собственности и заставили работать в колхозе. На протяжении десятилетий означенные специалисты аграрной науки много раз грабили согнанных в колхоз крестьян в целях окончательной победы справедливости над капитализмом и прочими темными силами, которые, как освободил селян от рабства император Александр II, так и не давали им насладиться полным счастьем в союзе с более прогрессивным пролетариатом...

Жизнь щелинцев была на самом деле тяжелой каторгой, и избы крестьянские, покосившиеся и черные, как будто в землю зарывались поглубже и вращались в нее от страшного белого света подальше. По всему выходило, что рабство далекое вернулось – земли своей нет, большую часть выращенного отбирают, на трудодень положена жизнь голодная, паспорта отнятые лежат в сейфе у колхозного начальства, чтобы неповадно было сбежать, а если кто вздумал говорить начальству наперекор, то быстренько темной ночью исчезал бесследно. Но и это мог бы превозмочь наш терпеливый и привыкший

к грабежу и насилию селянин, однако тут райком по указанию обкома, который в свою очередь и т. д., напустил на деревеньку всю мощь передовой и единственно верной мичуринской науки, возглавляемой разбойным мудозвоном Трофимом Лысенко, который по мудрости и знаниям в области аграрных наук уступал только самому лично Великому Вождю. Основная мысль этой науки заключалась вот в чем – только партийное начальство в районе и области достоверно знало, что и когда крестьянам следует сеять и жать. От такой напасти им, крестьянам, ох как трудно было оправиться. Тут, правда, Великий Вождь залег навечно в мавзолей рядом с самим В. И. Лениным, но поскольку оказалось, что он не во всём был прав, особенно в аграрном вопросе, то вскоре был досрочно выписан из мавзолея и закопан в сырую землю в соответствии с вышеназванными аграрными пожеланиями трудового крестьянства. И тут всем показалось...

Эх, мало ли чего тогда казалось в светлых снах и темному крестьянину в деревеньке Щелино, и высокообразованному профессору в самой Москве. А проснувшись, и тот и другой узнавали – один по радио, другой из телевизора – что новое начальство имело для крестьян-колхозников новые указания, более прогрессивные, но опять же на строго научной основе того же разбойного Трофима Лысенко. Конечно, ради правды нельзя не сказать, что ряд послаблений для щелинцев всё-таки вышел – крепостное право вторично отменили и паспорта выдали на руки, так что теперь можно бы-

ло сбежать в город. Да к тому же всем пообещали вот-вот догнать и перегнать Америку и сразу же вступить в полный коммунизм, который, по-видимому, тут же рядом с бегущей перед щелинцами Америкой и размещался.

Все эти события происходили в годы детства, отрочества и юности нашего героя. Ваня ходил в школу в райцентр, который располагался в нескольких верстах от его родного Щелино. Сам райцентр был недалеко от сравнительно приличного шоссе Москва-Ленинград, и от шоссе к нему вела асфальтированная дорога, однако дорога от райцентра до Щелино была, как говорили, грунтовой, то есть не всегда проезжей. Ваню и других ребят иногда подбрасывал до школы шофер колхозного грузовика, но чаще приходилось идти пешком, особенно весной и осенью, когда дорога разбухала от грязи, а еще, когда деревянный мост через щелинский ручей оседал, горбатился и щелился от старости и непогоды, так что на грузовике переезжать его становилось опасно...

Учительница в Ваниной деревенской школе сказала: «Вот, ребята, через три года перегоним Америку по мясу и молоку и приступим к окончательному построению коммунизма. Ваше поколение будет жить при коммунизме – это гарантирует наша родная Коммунистическая партия!» Ваня не понял, что значит «гарантирует», но красивые слова учительницы ему понравились – что ни говори, а при коммунизме в деревне даже мясо будет. Он вообще стал замечать, что ему больше нравится то, чего он не понимает, ибо всё ясное,

окружавшее его, никак нравиться не могло.

Например, в школе висел плакат с непонятными словами: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача!» Ване нравилась эта красивая фраза, но он не знал, что такое «милости», иначе взял бы их, раз есть такая задача, а спросить учителей стеснялся. Он сначала думал, что милости – это милостыня, которую нищие, чаще безногие или безрукие еще с войны, выпрашивают на райцентральной автобусной остановке и около церкви. Но таких милостей Ваня не хотел, ему это не нравилось, а фраза на плакате нравилась – значит, там речь шла о каких-то других милостях. Ванин сосед по парте, из послевоенных переростков, сказал: «Милости – это когда сколько хошь жри картошки». Такое толкование было понятно, потому что касалось основного продукта в рационе щелинцев, но Ваня думал о другом – он ждал каких-то необыкновенных, возвышенных что ли, милостей, ждал, пока не пришла пора отрочества, а вместе с ним осознание того жестокого факта, что в своей деревне он ничего хорошего, о чем говорили в школе и рассказывали по радио, никогда не дождется. И вот настал такой момент, когда Ваня принял на всю жизнь твердое решение – никогда не ждать и не просить ни у кого никаких милостей, а брать и рвать немедленно всё, что ему нужно, и не как милостыню, а как свое, временно другими захваченное... Он первым в классе вступил в Коммунистический союз молодежи и быстро выдвигался по комсомольской линии, смекалисто

угадав, что именно в этом направлении располагаются все искомые «милости природы».

Это были времена, когда самого Первого секретаря всей партии, славного Никитушку Хрущева – заступника невинно убиенных и чудом выживших, вдруг осенило по линии сельского хозяйства, вследствие чего начальство велело щелинцам сеять кукурузу, а у них, к сожалению, кукуруза росла плохо. Смахнули бабы черными от земли руками чистые слезы, а Ваня взял старый, еще от раскулаченного деда, чемоданчик, засунул в него свое нехитрое бельишко, положил аккуратненько завернутые в чистый платок 50 рублей, паспорт, аттестат об окончании средней школы, а главное – направление Обкома ВЛКСМ на учебу в вузе, и уехал на попутке в Ленинград.

Жизнь Вани в Ленинграде до его романтического и судьбоносного знакомства со своей пассией-покровительницей Валентиной Андреевной никакого интереса для любознательного читателя не представляет. Он поступил в ничем не знаменитый вуз на факультет радиотехнического профиля, получил в качестве иногороднего и ценного комсомольского кадра койку в общежитии, в комнате всего лишь на четверых, и скромную, чтобы не сказать – убогую, студенческую стипендию. Жизнь в бывшей имперской столице предлагала много интересных соблазнов, но почти все они оказались абсолютно недоступными Ване – это было ему продемонстрировано самым наглядным и безжалостным образом.

Как-то на студенческом вечере в актовом зале института он пригласил на танец ослепительно красивую девушку в необыкновенно ярком коротком платье, ничуть не скрывавшем ее стройные ножки вплоть до непозволительного для настоящего комсомольца уровня. Темные волосы подчеркивали белизну продолговатого лица девушки, а слегка презрительный взгляд больших черных глаз – ее независимый характер. Ваня такую красоту вообще видел первый раз в жизни. Девушка, как оказалось, не имела никакого отношения к вузу и пришла, по ее выражению, «потусоваться среди интеллигентов». Ослепленный Ваня, возомнив себя тем самым искомым интеллигентом, попытался назначить красавице свидание, на что она, осмотрев его с головы до ног, сказала: «Вы – симпатичный молодой человек, но не потянете меня... Я для вас слишком дорогая!» – и... исчезла. Ваня был тогда потрясен и даже впал в депрессию – снова, как и в деревне Щелино, доступный ему мир был жестко ограничен. Причем отныне – убогой жизнью на стипендию и мелкие случайные заработки, да еще – всеобщим дефицитом продуктов и товаров. «Как вырваться из круга этих ограничений?» – мучительно думал Ваня. В конце концов, он не смог придумать ничего, кроме усиления своей комсомольской активности, но это, как объяснила ему впоследствии Валентина Андреевна, и было, на самом деле, генеральным направлением его движения вверх, направлением прорыва из тотально дефицитной жизни, в которой пребывало боль-

шинство населения.

История знакомства Вани с Валентиной Андреевной, которую назвать иначе как по имени и отчеству язык не поворачивается, удивительна до невероятности и, на первый взгляд, может показаться выдумкой беллетриста, что к автору этих строк, ясное дело, не имеет никакого отношения. Если я скажу, что их встреча произошла в столице нашей родины Москве и, более того, не где-нибудь, а в Государственном академическом Большом театре Союза ССР, то вдумчивый читатель, не любящий кормиться подобными небылицами, пожалуй, отложит нашу рукопись в сторону. Тем не менее, так именно оно и было, и я вынужден эту историю пересказать даже с риском потери некоторых серьезных читателей, ибо, как говорил классик, «нет ничего прекраснее правды, кажущейся вымыслом».

Однажды ранней осенью у Вани случилась комсомольская премия и недельный отпуск в придачу за организацию ударного труда студентов на колхозных полях. Он взял билет в плацкартный вагон и поехал в Москву, в которой отродясь не бывал. В Москве Ваня не торопился, он собирался переночевать в общежитии родственного московского института, но затейница-судьба уготовила ему нечто другое... Одни верят, что наши судьбы полностью predeterminedены свыше, другие полагают, что только свобода воли определяет судьбоносный выбор той или иной дороги. В случившемся с Ваней, конечно, доминирует predeterminedенность и почти со-

всем не просматривается свобода воли. Осмотрев Красную площадь, Мавзолей и Кремль, Ваня пошел в Музей В. И. Ленина, чтобы потом рассказать об этом, кому надо, а затем направился по Охотному ряду к площади Революции, чтобы посмотреть памятник Карлу Марксу, но внезапно увидел напротив памятника величественное здание Большого театра. На афише с юношей и девушкой в красивых развевающихся восточных костюмах значилось – балет «Легенда о любви». Ваню вдруг неодолимо повлекло посмотреть этот балет в самом Большом театре – словно само Провидение подтолкнуло его в том единственно правильном направлении. В кассе театра было написано «Билеты проданы». Ваня пытался разговаривать билетершу – мол, дескать, он первый раз в Москве и очень хочет... но получил в ответ лишь холодный, презрительный взгляд перед тем, как окошко захлопнулось.

В растерянности Ваня озирался по сторонам, и в этот момент Провидение, которого, как Ваню учили, нет и быть не может, подкинуло ему выигрышную карту. В углу небольшого кассового зала лежал на полу явно кем-то потерянный кошелек, а вернее – красивое светло-коричневое портмоне. Вокруг портмоне уже собралась небольшая толпа нерешительно взиравших на него граждан – никто, однако, не решался в присутствии других взять его, хотя, само собой, воровато прикидывал, как бы это сделать. Ваня среагировал на ситуацию мгновенно – ведь им руководило само Провидение. Он решительно раздвинул столичных интеллигентов и поднял

портмоне. Меломаны неодобрительно зашумели, а некоторые придвинулись к выходной двери, чтобы преградить путь наглецу, захватившему чужой кошелек. Ваня тем временем решительно двинулся к двери с надписью «Администратор», демонстративно держа свой трофей в вытянутой руке. Нахально, без стука войдя к администратору, он поспешно, пока его не выставили, предъявил свою находку и заявил, что взамен желает получить билет на вечерний спектакль. Администратор – утомленный посетителями пожилой, многоопытный прохиндей – только из-за этого трофея и стал с Ваней разговаривать. Он раскрыл портмоне и обнаружил там помимо приличной суммы денег, которые его лично давно уже и совсем уже не интересовали, два билета на вечерний спектакль, которые недавно он собственноручно выдал по благу представительной интеллигентного вида даме, а главное – удостоверение личности с корешком пропуска, из которых тут же понял, что дама является сотрудником компетентных органов, в которых он сам значился, ясное дело, внештатным сексотом. Это меняло ситуацию коренным образом, и администратор почти любезно сказал ничтожной Ваниной личности: «Зайдите ко мне за полчаса до начала. Попытаемся что-нибудь придумать для вас».

Наш умудренный в детективном жанре читатель давно уже понял, что портмоне принадлежало Валентине Андреевне, которая была в тот день в служебной командировке в Москве и неосторожно промахнулась, опуская портмоне в

свою безразмерную сумку. К счастью, по наводке администратора ей позвонили заблаговременно из ее собственной конторы, для которой сиюминутное местопребывание граждан такого уровня не составляло секрета. Убедившись в потере кошелька, Валентина Андреевна немедленно отправилась к администратору, который почтительно вручил ей найденное портмоне и попутно рассказал о крепком, но простоватом молодом человеке из провинции, принесшем свою находку и мечтающем попасть на балет. Он пояснил: «Я велел ему зайти за полчаса – конечно, мы поможем, раз тут такое дело...» Валентина Андреевна протянула администратору один из двух своих билетов и сказала: «Молодой человек, безусловно, заслуживает благодарности, передайте этот билет ему – пусть получит удовольствие». В этом спонтанном решении Валентины Андреевны тоже просматривается некий возвышенный замысел того самого Провидения, которое управляло в тот день поведением Вани. Конечно, можно всё свалить на его величество случай, который толкает людей на тот или иной путь, но, как говорил классик, самое важное – «не дорога, которую мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать ту или иную дорогу». В тот осенний день в кассе Большого театра нечто, что было внутри наших героев, подтолкнуло Валентину Андреевну и Ваню на дорогу к их судьбоносной встрече.

Ваня был весьма смущен – администратор любезно дал ему билет и не взял денег за это. Дальше больше – у роскош-

ной ложи его встречал пышно разодетый капельдинер, который сначала вежливо попросил предъявить билет, а затем любезно открыл перед Ваней дверь и показал ему место в первом ряду. Капельдинер на самом-то деле оценивал опытным взглядом изощренного агента, не украл ли этот плохо одетый парень свой билет, – он привык к совсем другой публике. Ваня тем временем был ошеломлен открывшейся картиной. Знаменитый «золотой занавес» Большого, сотканный из золотых и шелковых нитей, с огромной золотой звездой и красными знаменами наверху, предстал перед ним как на ладони, – Ваня сидел рядом с бывшей царской, а ныне правительственной ложей, в которой были какие-то иностранцы. Под огнями гигантской люстры сиял роскошный зал – весь в золоте и красном бархате. В это время дверь открылась, и знакомый капельдинер провел на соседнее место «интересную даму уже в возрасте», как заметил для себя Ваня. Дама обернулась к нему и сказала: «Спасибо, молодой человек, за портмоне – это было весьма благородно с вашей стороны». Ваня, наконец, понял всю историю с билетом и проблеял не своим голосом нечто вроде «и вам большое спасибо...» Дама посмотрела на него изучающе и сказала решительно: «Ну, что же, давайте знакомиться – меня зовут Валентиной Андреевной». Ваня промямлил свое имя, потом добавил отчество, но фамилию решил, на всякий случай, не называть.

Танцевали звезды Большого – Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова и Марис Лиєпа. Ваня прежде видел балет

только по телевизору в клубе общежития. Он поначалу плохо понимал суть происходящего на сцене и не улавливал связи между аплодисментами зрителей и нюансами танцев великих балерин, но в первом антракте Валентина Андреевна – тонкий знаток балетного искусства – разъяснила Ване, что к чему. Ване понравилось, как деликатно она рассказывала ему о незнакомых вещах, он был очарован ее мягкой манерой говорить просто о сложном – такую образованную, умную женщину наш герой видел первый раз в жизни. И эта необыкновенная и, по-видимому, весьма влиятельная дама так добра к нему – невежественному лопуху. Ко второму антракту Ваня был едва ли не влюблен в свою соседку, возникшую словно из этой «Легенды о любви», и уже не просто слушал, но, осмелев, всё чаще восхищенно поглядывал на нее. И когда после спектакля Валентина Андреевна пригласила его к себе «на чашечку чая», Ваня смутился и одновременно обрадовался, предчувствуя необыкновенный разворот этого московского приключения.

О случившемся на служебной квартире Валентины Андреевны, конечно, никто ничего толком не знает – это всё, как говорят в таких случаях, кануло в Лету. Некоторые детали мне лично известны из намеков самого Ивана Николаевича, с которым мы приятельствовали в его аспирантские годы, а также из рассказов сплетниц нашего ящика, в которых правда витиевато переплеталась с пикантными домыслами их безмерного воображения.

Инициатива в ту ночь, конечно же, исходила от Валентины Андреевны, и когда Ваня почувствовал нежную, но властную руку дамы в том месте своего тела, где прежде никто, кроме него самого, не бывал, то немедленно ответил взаимностью, вознамерившись по обыкновению быстро исполнить нехитрую мужскую функцию. Здесь нужно сказать, что сексуальный опыт нашего героя – а уж об этом я достоверно знаю – был к тому моменту весьма примитивным. К парочке деревенских баб, конечно же, как вы понимаете, без малейшего изыска, он добавил парочку студенток-провинциалок, пытавшихся утвердить свой столичный имидж самым поспешным и общедоступным способом на узких, скрипучих железных кроватях студенческого общежития. Ваня избегал близкого знакомства с городскими барышнями, справедливо опасаясь насмешливо-уничужительного отказа, а на студенческих вечеринках делал вид, что ЭТО его не интересует. А тут Валентина Андреевна – эдакая многоопытная светская львица... Короче говоря, бесхитростный порыв нашего героя – всё сделать по-быстрому одним кавалерийским наскоком – был мягко, но твердо пресечен: «Ваня, милый, не торопись... Пойди сначала прими душ... В ванной комнате найдешь полотенце и халат... Иди, иди, милый...» Смущенный таким незнакомым ему поворотом дела, Ваня пошел в ванну и, беззвучно матерясь, разобрался не без труда, едва не ошпарившись, с вычурным многопозиционным душевым краном. Честно говоря, он первый раз в жизни мылся в

ванне, тем более среди такой бело-розовой роскоши. Прежде ему доводилось делать это либо в курной деревенской бане, либо в грязноватой душевой общежития на десять помоечных мест. Вытираясь огромным купальным полотенцем и заворачиваясь в белоснежный махровый халат, Ваня прикидывал в уме, что, может быть, эта бело-розовая ванна есть начало его новой жизни... Он не ошибся, он угадал свою судьбу – Валентина Андреевна задала ему ночь по высшему разряду, о существовании которого он прежде даже не догадывался, да и вообразить ТАКОЕ, вероятно, не мог. Уже под утро, засыпая, ошеломленный и утомленный, Ваня прокручивал видения этого фантастического дня – золото и малиновый бархат роскошной ложи Большого театра, ярко освещенная сцена с красивыми артистами, танцующими под красивую музыку, сказочная балерина в развевающихся одеждах и немыслимом прыжке, легенда о любви, бело-розовая ванна, припухлые губы Валентины Андреевны и ее фосфоресцирующее тело при свете сиренево-лилового ночника... Да, это другой мир, это новая жизнь, это его судьба, это его легенда о любви, легенда о любви, легенда о любви...

Вернувшись в Ленинград, Ваня всего один день прожил в общежитии, а затем перебрался вместе со своими пожитками к Валентине Андреевне, благо ее сын – Ванин ровесник – жил со своей подругой отдельно, в окраинной кооперативной квартире, купленной ему матерью. Через пару месяцев Ваня и Валентина Андреевна тихо, без свадебных торжеств

поженились, и Ваня стал совладельцем роскошной трехкомнатной квартиры в старинном доме на Фонтанке. Валентина Андреевна в то время была ровно в два раза старше Вани. Ее муж, крупный партийно-хозяйственный работник, погиб еще во времена расстрельного Ленинградского дела, и она, избежав репрессий только лишь по молодости, одна растила сына и пробивалась наверх – удивительного характера женщина. Однако самое поразительное в истории Ваниной женитьбы заключалось в том, что этот, казалось бы, явный мезальянс на самом деле оказался прочным союзом и до поры до времени базировался на искренней привязанности и, не побоюсь этого громкого слова, любви. Я это знаю достоверно не только со слов Вани. Когда он начинающим инженером появился у нас в ящике, все, конечно, посплетничали и позлорадствовали по поводу этакой парочки, но потом быстро заткнулись – очевидное счастье влюбленных словно смыло всё злобство, оставив лишь недоумение и, может быть, тщательно скрываемую зависть. Это потом, когда счастье развеялось и рухнуло, заговорили опять – мол, всё ясно было с самого начала... мы же предупреждали... Но не будем забежать вперед, обо всём расскажем в свое время, а сейчас, когда Ваня засиял, а Валентина Андреевна воистину расцвела, восславим наших безумных любовников-авантюристов торжественным маршем Мендельсона!

Последующие годы Ваниной жизни вплоть до успешной защиты им кандидатской диссертации, выражаясь высоко-

парно, но точно, протекали под эгидой Валентины Андреевны. Этот своеобразный «щит Зевса» не только оберегал нашего героя от стрел недоброжелательного столичного мира, но и был превосходной площадкой для домашнего образования, не доставшегося ему в детстве. Жена учила Ваню азам светской жизни, начиная от того, как пользоваться за столом салфеткой, и кончая тем, как ненавязчиво и почтительно кивнуть в кабинете партийного начальства в знак полного согласия с мудрейшими высказываниями оного. Весь многолетний опыт борьбы за существование в жестком тоталитарном мире, за свое прибрлатненное место в нем Валентина Андреевна вкладывала теперь в неофита Ваню.

– Иван Николаевич, – уважительно наставляла она своего мужа, – ты обещал сходить в партком насчет приема в партию. Не забыл?

– Они говорят, что разрядка на прием студентов в этом году урезана.

– А ты скажи, что тебя разрядка не касается, ты из пролетариев и хочешь быть в первых рядах... ну, мол, готов на любую работу ради партии. Прояви партийную инициативу, а я по своим каналам помогу...

И она помогала, а Ваня проявлял инициативу и вскоре стал одним из первых партийных на курсе. По партийной линии он и далее быстро продвигался по методу ударной возгонки, то есть минуя ряд промежуточных стадий, и на пятом курсе был уже членом парткома института. Благодаря же-

не Ивану открылись многие приятные, неведомые стороны жизни – оперная и балетная классика в бывшем Императорском Мариинском театре, спектакли бывшего Императорского Александринского театра с великими актерами Черкасовым, Симоновым, Толубеевым, Скоробогатовым, Борисовым, Фрейндлих, знаменитые постановки Товстоногова в БДТ с участием легендарных Полицеймако, Смоктуновского, Копеляна, Ольхиной... Ваня наконец узнал, что едят допущенные к дефициту люди. Валентина Андреевна отоваривалась в обкомовском спецраспределителе, поэтому заграничный сыр, твердокопченая колбаска, консервированная сайра, балычок, равно как и прочие дефицитные продукты, включая пресловутые «ананасы и рябчики», о существовании которых Ваня знал из популярной агитки советского классика, всегда были в этом доме – некоторые из них Ваня ел и даже видел впервые в жизни. Однако еще раз повторяю: ошибаются те, кто усматривает во всём этом Ванину корысть. Он в те времена был не только глубоко благодарен Валентине Андреевне, но и искренне увлечен этим фантастическим романом.

Окончив институт с вполне приличным аттестатом и с партийным стажем, Ваня без труда распределился на работу в наш почтовый ящик. Здесь и протекция Валентины Андреевны не потребовалась – только лишь мудрый совет да проводка по первому отделу без проволочек. В том году наш шеф Арон Моисеевич Кацеленбойген защитил докторскую

диссертацию, его отдел расширили, и Ваня попал к нему, а вернее, ко мне в исследовательскую группу. Ваня, как говорят, звезд с неба не хватал, но инженерную работу выполнял тщательно, старался, что с учетом его далеко влекущих карьерных амбиций давало интегрально вполне приличный результат. Ему удавалась настройка готовых образцов аппаратуры, а особенно – всё, связанное с организацией производства и снабжения.

К тому же Ваня активничал по партийной линии и вскоре возглавил еженедельный политсеминар отдела, а затем стал членом парткома всего предприятия, что было просто находкой для нашего отдела, который постоянно журили за низкую политактивность. Кстати, именно Ваня придумал и утвердил на парткоме чрезвычайно «демократичный» порядок проведения политсеминаров – все руководящие работники, кандидаты и доктора наук, а также старшие и младшие научные сотрудники в обязательном порядке должны были отныне сделать хотя бы один доклад на политсеминаре. Демократичность процедуры – поясню для скептиков – состояла в том, что очередность выступлений оставлялась на усмотрение самих докладчиков. Помню, Арону досталось прокомментировать выступление Генсека ЦК КПСС товарища Брежнева на каком-то съезде или пленуме. Арон отнесся к делу со всей присущей ему серьезностью. На семинар он принес магнитофон с записью речи вождя, сказал: «Здравствуйте, товарищи!», и включил магнитофон. Это было еще

в раннезастойный период, когда вождь мог говорить относительно четко и ясно, и его получасовую речь в громкой магнитофонной записи никто в нашей аудитории, естественно, прервать не посмел. Простояв безмолвно около говорящего магнитофона полчаса, Арон наконец выключил его, широко развел руками и глубокомысленно изрек: «Лучше не скажешь!» Аудитория разразилась бурными аплодисментами, к которым был вынужден присоединиться руководитель семинара Иван Николаевич, чувствовавший, конечно, во всей этой Ароновой затее некоторый подвох. Кто-то из наших местных стукачей, разумеется, донес в партком об инциденте, и Ване было указано, что впредь докладчики обязаны высказывать свое личное положительное мнение о выступлении вождя, а не повторять бездумно его речь.

Любопытно, что наше с Ваней сближение также произошло на почве этого пресловутого политсеминара. Мне тогда досталась тема, связанная с каким-то юбилеем «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Стараясь как-то оживить эту долбаную-передолбанную тему, я сосредоточился на биографиях основоположников и в докладе совершенно произвольно, как бы между делом, упомянул, что Карл Маркс происходил из богатой еврейской семьи, имевшей глубокие раввинские корни и по отцовской, и по материнской линиям. Еще заметил я не без озорства, что, судя по некоторым генеалогическим исследованиям, у Карла Маркса и нашего уважаемого шефа Арона Моисееви-

ча Кацеленбойгена могли быть общие предки. Признаюсь – сделал я всё это не без желания слегка эпатировать публику. Это сейчас всякий, кто слышал что-либо об основоположнике марксизма, знает, что он был евреем, а в те годы, когда слово «еврей» в Советском Союзе считалось едва ли не ругательным на грани матерщины, столь прискорбный факт биографии первого из великих вождей пролетариата всех стран был тщательно закамуфлирован и известен лишь настырным пройдохам вроде меня. Ваня, слушая мой доклад, покраснел от подскочившего давления крови, но осмотрительно промолчал, а затем сухо поблагодарил докладчика и закрыл заседание без обычного оптимистичного финала... Когда все разошлись, Ваня подошел ко мне и, стараясь соблюдать максимальную почтительность, сказал: «Ну, это вы, Игорь Алексеевич, сказанули насчет Маркса... Зачем же так его... с этими буржуазными домыслами... Нельзя же так, без уважения...» Я ответил в тон Ване: «Это, Иван Николаевич, не домыслы, а медицинские факты», а он ничего больше не сказал и ушел, показывая, что разговор о еврействе Карла Маркса ему весьма неприятен. На следующий день я принес Ване толстенный том с биографией Карла Маркса, написанной немецким коммунистом Францем Мерингом, потом я давал ему читать другие книги по истории коммунистического движения, не вполне гармонизовавшие с извилистой, в обход правды, линией партии. Ваня был толковым и благодарным читателем – на этой почве мы с ним и сблизились.

Не могу не признать, что всё это время Валентина Андреевна минимально вмешивалась в Ванину судьбу, оставалась в роли невидимого режиссера-постановщика за сценой, и он вполне самостоятельно и умело играл роль преданного делу партии простого парня из народа, которому она, родная партия, открыла все дороги к своим бесценным милостям. Единственное известное мне активное вмешательство режиссера в судьбу нашего талантливого актера действительно имело место, когда по сценарию пьесы Ване надлежало стать кандидатом технических наук.

Всё началось с того, что Ваня, конечно же с подачи жены, попросил меня походатайствовать за него перед Ароном, а именно – чтобы тот взял Ваню в аспиранты. Я это сделал, но Арон отнесся к идее прохладно – Ваня на ниве науки никак не проявил себя, а однажды честно признался, что у него «от этих формул голова болит». С другой стороны, перекрыть путь в науку молодому человеку, да еще к тому же – члену парткома, было бы неправильным, и Арон колебался... Тут, кстати или некстати, у него появился еще один претендент на аспирантскую позицию – блестящий математик, выпускник матмеха Ленинградского университета, имевший, правда, один серьезный недостаток – его фамилия была Гуревич. Прекрасно понимая сложность проблемы, Арон лично пошел утрясать вопрос с Гуревичем к самому Генеральному директору Митрофану Тимофеевичу Шихину – адмиралу в отставке, кандидату военно-морских наук. Выслушав с ка-

менным лицом Арона, красочно расписавшего те достижения, которые сулит нашему научно-производственному объединению работа молодого талантливого математика, адмирал долго молчал, а затем неспешно и философически резюмировал результат своих раздумий:

«Есть у нас, Арон Моисеевич, люди, желающие превратить предприятие в синагогу, но мы не можем допустить этого. Вот и в вашем отделе наблюдаются некоторые, так сказать, синагогальные тенденции».

Арон Моисеевич глубоко вздохнул, чтобы сердце забившееся успокоить, и по возможности вкрадчиво ответил:

«Что касается моего отдела, Митрофан Тимофеевич, то синагогальная служба в нем невозможна, поскольку не хватает кворума в десять персон мужского пола иудейского вероисповедания, необходимого, как известно, для полноценного миньяна».

Митрофан Тимофеевич не знал, что такое «миньян», но в незнании не любил признаваться и поэтому перевел разговор на общепроизводственные темы. Когда адмирал встал, давая понять, что аудиенция окончена, Арон спросил у него: «Ну, а как же с Гуревичем?», а тот ответил:

«Не подумайте, Арон Моисеевич, что это против вас лично, но сейчас очень сложно с еврейским вопросом. Сами знаете – сионизм распоясался и прочее... Я попробую что-нибудь сделать для вас...»

На этом и расстались, а вопрос с Гуревичем повис в воздухе.

хе. Повис, однако, ненадолго, ибо в дело вмешалась Валентина Андреевна. Деталей переговоров в треугольнике «Митрофан Тимофеевич-Валентина Андреевна-Арон Моисеевич» я не знаю, но общие контуры дела представляю достаточно ясно. Валентина Андреевна, говоря без экивоков, предложила Арону Моисеевичу сделку: он берет Ивана Николаевича в аспирантуру, а она обеспечивает прием на работу Гуревича. По-видимому, Митрофан Тимофеевич приказал Первому отделу проверить Гуревича на секретность в свете происков сионизма – отсюда всё и завертелось. Арон Моисеевич безоговорочно принял предложение Валентины Андреевны. Как ей удалось обтяпать дельце с Митрофаном Тимофеевичем – одному богу известно, а нам, смертным, остается лишь строить догадки... Думаю, что Ваня ничего не знал об этой истории, а может быть, и сейчас не знает. В сухом остатке всей той закулисной возни оказалась неизбежной, со стопроцентной гарантией, ученая степень Вани, ибо всем было известно: Арон не допускает провала своих аспирантов!

Не буду рассказывать, как писалась Ванина диссертация и сколько крови это стоило мне. Ни ее название, ни тем более содержание я, естественно, разглашать не могу поскольку не у всех читателей есть допуск по первой форме к секретным материалам. Намекну лишь, что она была посвящена разработке физической модели некоей системы на базе экспериментальных исследований, в которых Ваня принимал участие. В итоге получилась работа без озарений, но вполне доб-

ротная, ничуть не хуже той массовой квазинаучной продукции, которая куется в наших почтовых ящиках под грифом «совершенно секретно». Одной из важных функций этого грифа было, между прочим, сокрытие низкого уровня секретных разработок, а подчас и их вторичности по отношению к зарубежным аналогам.

На защите диссертации происшествий не ожидалось, диссертант сносно ответил на вопросы членов Ученого совета, был зачитан отзыв промышленности, научный руководитель и оппоненты произнесли свои положительные отзывы, к ним присоединилась пара членов совета. Дело шло к успешному финалу, но тут случился казус, который едва не прервал Ванину научную карьеру. Внезапно попросил слова один известный профессор из авторитетных кругов и сказал, что, во-первых, в работе недостаточно, на его взгляд, экспериментальных данных, и, во-вторых, он напоминает, что видел похожий подход в какой-то американской работе. Всё это, уверяю вас, было полной чушью, но Шихин, который председательствовал, как-то слишком резко ухватился за «высказанные критические замечания» и в своем заключительном выступлении сказал, что, судя по всему, диссертация нуждается в доработке, и порекомендовал диссертанту и его научному руководителю учесть «мнение уважаемого профессора». Арон пытался выступить, но адмирал не дал ему слова и по-быстрому объявил тайное голосование. Голосование оказалось не в пользу Вани – диссертацию завалили.

Если оставить в стороне всяческие сантименты по поводу переживаний Ивана Николаевича и Валентины Андреевны, которые вынуждены были заплатить ресторану «Кавказский» неустойку за отмененный в последний момент банкет, то главным в тот злополучный вечер было твердое решение Арона бороться до конца. Арон понял, что всё случившееся направлено лично против него и подстроено самим Шихиным, который подговорил маститого профессора взорвать процесс. Зачем это нужно было адмиралу? Ясно проступали два объяснения, которые, сливаясь воедино, рисовали полную картину маслом. Во-первых, Шихину не нравился растущий научный авторитет Арона Кацеленбойгена и подобных Арону «французов» на вверенном ему предприятии – это следовало остановить. Во-вторых, звериным чутьем опытного аппаратчика чувствовал он, что этот Иван Николаевич, из молодых да ранний, и есть тот самый фрукт, который подсядет и, в конце концов, сменит его, заслуженного адмирала, в директорском кресле. Это всё Арон вычислил мгновенно и мгновенно же принял брошенную ему адмиралом перчатку.

Через Ваню, который, в свою очередь, подключил к делу Валентину Андреевну, Арон добился приема у заведующего отделом науки обкома партии. Член партии, доктор наук, он чувствовал себя уверенно, ему, собственно говоря, нечего было терять, хотя я лично опасался Аронова культпохода в Смольный в поисках правды, которая в том историческом

здании всегда была в руках шихиных. Я же тогда не знал, какие непозволительно жесткие слова осмелится сказать в колыбели революции Арон Моисеевич Кацеленбойген, а расчет Арона был точным, и он вернулся победителем!

Сцену из спектакля в Смольном я знаю достоверно со слов главного действующего лица. Арона приняла представительная дама лет пятидесяти, по-деловому прибранная с легкой красивой сединой в волосах. Разговор начался с ее вопросов о состоянии и перспективах науки в ПООПе, а затем она попросила Арона оценить уровень компетентности Ученого совета предприятия. Разговор на общие темы шел уже полчаса, когда дама внезапно сама перешла к сути вопроса: «Как же так получается, Арон Моисеевич, что Ученый совет, компетентность которого вы оцениваете столь высоко, принял неправильное, как вы полагаете, решение по диссертации вашего аспиранта?» Арон ответил: «Компетентность иногда входит в противоречие с мнением начальства». А затем он глубоко вздохнул и произнес фразу, которая вошла в анналы исторической хроники нашего ящика периода развитого социализма:

«Дело в том, что Генеральный директор нашего предприятия не любит евреев. Любовь или нелюбовь, как вы хорошо понимаете, чувства интимные, и я лично не претендую на то, чтобы Генеральный любил меня или хотя бы относился ко мне доброжелательно. Тем не менее я не позволю, чтобы нелюбовь ко мне

распространялась на моих подчиненных и учеников, я не позволю ломать судьбы молодых ученых только потому, что некто не любит евреев. Почему мой аспирант, русский, кстати, как вы знаете, должен страдать из-за того, что наш директор не любит его научного руководителя – еврея?»

Самое любопытное – чиновная дама не нашлась, что ответить, или, может быть, сочла неуместным любой ответ. Арон ожидал нечто вроде – мол, у нас в стране антисемитизма нет, партия всегда боролась с антисемитизмом, равно как и с сионизмом, и, дескать, такой интернационалист-коммунист, как Митрофан Тимофеевич, не может относиться к человеку предвзято из-за его национальности и т. д. и т. п. Но она промолчала... Все знали, что кампанией советского государственного антисемитизма руководит компартия, но всем полагалось делать вид, что этого нет и быть не может. Надзирательница над всей ленинградской наукой не хотела выглядеть примитивным пропагандоном в глазах этого смелого еврея-ученого, и она промолчала, дав тем самым понять Арону Моисеевичу, что на самом деле согласна с ним. В конце аудиенции дама пообещала Арону «разобраться с вопросом» – он почувствовал, что выиграл схватку с Шихиным, хотя еще не знал возможных последствий этой победы.

В действительности последствия победы Арона, как говорят, превзошли все ожидания и были не менее драматичными, чем провальная защита его аспиранта. Через 48 часов

после визита Арона Моисеевича в Смольный Митрофан Тимофеевич срочно собрал Ученый совет с участием Вани и с видом побитой собаки объявил ничего не понимающим членам совета следующее:

«Есть такое мнение, что мы с вами, товарищи, на прошлом заседании поспешили с принятием решения по диссертации аспиранта И. Н. Коробова, поэтому сегодня предлагается продолжить дискуссию по этой весьма актуальной научной работе. Кто за продолжение дискуссии и повторное тайное голосование, прошу поднять руку... Нет, нет, все другие вопросы после... Итак, единогласно...»

Ошалевшие от такого нарушения всех инструкций и процессуальных норм члены совета нерешительно подняли руки, хорошо понимая, ЧЬЕ это мнение, когда говорят «есть такое мнение». Только Арон ясно оценил происходящее – адмиралу вставили в одно чувствительное место мощнейший фитиль. Обком партии, конечно, требовал от всех самым решительным образом бороться с проявлениями «еврейского буржуазного национализма», но не терпел, когда это делается с ущербом для белой и пушистой обкомовской репутации. Обком рассылал парторганизациям секретные – как правило, устные – инструкции по дискриминации евреев, но не любил, когда это делается слишком топорно. Комедия Ваниной повторной защиты продолжалась не более сорока минут – он повторил тезисно свой доклад, научный

руководитель и два члена совета второй раз кратко похвалили его работу, к ним присоединился председательствующий Шихин, отметивший «большое практическое значение работы Ивана Николаевича для всего нашего объединения», и... Ученый совет единогласно проголосовал за присуждение Ивану Николаевичу Коробову ученой степени кандидата технических наук. Скромный банкет для избранных в ресторане «Кавказский» наконец-то состоялся.

После утверждения в ученой степени Ваня стремительно двинулся вверх по партийной лестнице и в 30 лет стал освобожденным секретарем парткома всего нашего ПООПа – эта позиция, пышно именовавшаяся «парторг ЦК», утверждалась самим ЦК КПСС по представлению обкома партии и по согласованию с соответствующими инстанциями отраслевого министерства и госбезопасности. Это были времена, когда мракобесная идея руководящей роли Компартии была раздута до невероятности, и во многих случаях парткомы были поставлены выше администрации по всем вопросам, начиная от «кто с кем живет» и кончая производственной технологией. Поэтому, когда Ваня стал Секретарем парткома, нетрудно было с трех раз угадать, кто вскоре будет назначен Генеральным директором всего предприятия вместо стареющего адмирала, худшие опасения которого становились реальностью.

Никто – ни Митрофан Тимофеевич, ни Валентина Андреевна, ни даже сама троянская прорицательница Кассандра –

не могли бы предугадать, какая непреоборимая сила встанет на пути Ивана Николаевича к высшей власти, никто не мог предвидеть, кто и что его погубит...

Ваня узнал Аделину с первого взгляда, как только случайно встретил ее в одном из коридоров, – это та красотка, которая столь неделикатно отшила его много лет тому назад на студенческом танцевальном вечере. То же удлиненное белое лицо с большими черными глазами, тот же незабываемый надменный взгляд... О, какой незаживающей раной пронес он в себе этот взгляд и тот унижительный отказ! Только потом, поразмыслив, Ваня понял, что та красотка должна быть постарше Аделины, но навязчивая идея реванша поселилась в его душе. Да, тогда он был ничтожным студентом из провинциальных наивных простаков, от его искреннего порыва ничего не стоило просто отмахнуться. Но теперь он – один из хозяев этой жизни, едва ли не властитель огромного предприятия с тысячами подчиненных. Он добился мечты своей голодной юности, теперь ему доступны и подвластны все ведомые и неведомые «милости природы», и это черноглазое чудо природы не является исключением...

Банальный сюжет, преследующий людей и нелюдей уже тысячи лет. Как рассказывает древнерусская летопись, Владимир Святославович – будущий киевский Великий князь, Святой Владимир Красно Солнышко – в молодости возжелал дочь полоцкого правителя Рогнеду, но юная красавица отказала ему. Такого оскорбления Святой Владимир выне-

сти не мог, мобилизовал свою варяжскую дружину, захватил Полоцк и... изнасиловал Рогнеду. Летопись живописует, что при этом князь не отказал себе в удовольствии предварительно убить на глазах невинной девочки ее отца и всех братьев – видимо, для усиления сексуально-реваншистского эффекта.

Аналогия между Владимиром Святославовичем и нашим Иваном Николаевичем здесь, конечно, за уши притянута, но она, тем не менее, показывает – за прошедшее тысячелетие мало что изменилось в языческих инстинктах человека, несмотря на все христианские старания. Отчего это? Может ли от плохого человека произрасти что-то хорошее? Наверное, может, но я таких случаев не знаю...

## Глава 4. Севилья

*Десятого августа 1519 года, через год и пять месяцев после того, как Карл, будущий властелин Старого и Нового света, подписал договор с Магелланом, все пять судов покидают наконец севильский рейд, чтобы отправиться вниз по течению к Сан-Лукар де Баррамеда, где Гвадалквивир впадает в открытое море; там произойдет последнее испытание флотилии и будут приняты на борт последние запасы продовольствия. Но, в сущности, прощание уже свершилось: в церкви Санта-Мария де ла Виктория Магеллан, в присутствии всего экипажа и благоговейно созерцавшей это зрелище толпы, преклонил колена и, произнеся присягу, принял из рук коррехидора Санчо Мартинес де Лейва королевский итандарт... В Сан-Лукарской гавани, против дворца герцога Медина-Сидония, Магеллан производит последний смотр перед отплытием в неведомую даль...*

*Магеллан закончил свой обход. Со спокойной совестью может он сказать себе: всё, что смертный в состоянии рассчитать и предусмотреть, он рассчитал и предусмотрел. Но дерзновенное плавание бросает вызов высшим силам, не поддающимся земным расчетам и измерениям. Человек должен считаться и с наиболее вероятным финалом такого странствия: с тем, что он из него не возвратится. Поэтому*

Магеллан, претворив сначала свою волю в земное дело, за два дня до отплытия письменно излагает свою последнюю волю... Раньше, чем к людям и правительству, это глубоко волнующее завещание обращается ко «всемогущему Господу, повелителю нашему, чьей власти нет ни начала, ни конца». Свою последнюю волю Магеллан изъясляет, прежде всего, как верующий католик, затем – как дворянин, и только в самом конце завещания – как супруг и отец...

Последний долг на родине выполнен. В Севилье наступает прощание. Трепеща от волнения стоит перед Магелланом женщина, с которой он в течение полутора лет был впервые в жизни настоящим счастлив. На руках она держит рожденного ему сына. Рыдания сотрясают ее вторично отяжелевшее тело. Еще один, последний раз он обнимает ее... Затем скорее, чтобы от слез покинутой жены не дрогнуло сердце, – в лодку и вниз по течению к Сан-Лукару, где его ждет флотилия. Еще раз в скромной Сан-Лукарской церкви, предварительно исповедавшись, вместе со своей командой принимает причастие.

На рассвете 20 сентября 1519 года – эта дата войдет в мировую историю – с грохотом поднимаются якоря, паруса надуваются ветром, гремят орудийные выстрелы – прощальный привет исчезающей земле; началось великое странствие, дерзновеннейшее плавание во всей истории человечества.

**Стефан Цвейг, «Магеллан»**



Аделина пришла, можно сказать, неожиданно, позвонив всего лишь за полчаса, и мы с Томасом едва успели навести в квартире элементарный порядок. Томас неодобрительно наблюдал за моими стараниями, подозревая, что всё это кончится плохо, конечно же, для него. Отношения между ним и Аделиной с самого начала не заладились, причем виноват был в первую очередь Томас – он так отвратительно шипел, когда она протянула руку для знакомства, что о дальнейшей дружбе не могло быть и речи. Правда, шипел Томас не зря, ибо худшие его опасения оправдались – он был выставлен на ночь сначала в коридор, а затем даже заперт на кухне вследствие непристойного поведения.

Аделина принесла толстый том поэзии Осипа Мандельштама и роман Александра Солженицына «В круге первом» – они были изданы какими-то заграничными издательствами и, судя по всему, контрабандно доставлены на родину. Она сказала: «Мандельштам – это мой подарок тебе, милый друг. А Солженицына прочитай как можно скорее – многие на очереди. Пожалуйста, не показывай ни того, ни другого своим приятелям по преферансу и алкоголю – понимаешь?» Я понимал... «Можно, я не буду читать этой ночью?» – спросил я, чтобы шутейно прояснить ситуацию. А она ответила: «Можешь попробовать, но, боюсь, у тебя это

не получится». Я всё понимал, в том числе и то, что влезаю в определенную историю.

На самом деле, я не был ни диссидентом, ни шестидесятником. В шестидесятые годы был вначале слишком молод, а потом слишком незрел, чтобы принадлежать к этому удивительному движению. Главное, наверное, в том, что не было у меня тогда соответствующего окружения. Но безмозглым манкуртом всё же не стал – сумел самостоятельно понять, в какое уникальное время довелось жить, в каком гигантском прорыве пришлось хотя бы косвенно поучаствовать... «Солженицын недавно выслан из СССР за антисоветчину, чтение его романа тянет на срок, – прикидывал я. – Но, с другой стороны, прочитать Солженицына в порядке подготовки к заседанию Идеологической комиссии парткома – это круто!»

– Откуда у тебя такая литература?

– Не будь слишком любопытным, тем более – дураком. Такие вопросы не задают. Хочешь – читай, не хочешь – не читай и выброси, но забудь о том, кто тебе это принес. В случае чего – нашел на скамейке в ЦПКО или на помойке, где, мол, всему этому антисоветскому дерьму самое место.

– Твои друзья не берегут тебя. Кто они?

– Мои друзья при необходимости подтвердят, что мои любимые советские авторы – Горький, Фадеев, Шолохов и еще этот самый... Чапаев, а мой любимый роман «Как закалялась сталь». И что никаких других авторов и книг они у меня в руках отродясь не видели... Кстати, если захочешь, я

познакомлю тебя с ними.

– Непременно познакомь. Судя по тебе, они нетривиальные личности. Это можно будет сделать после моей командировки.

– Когда ты уезжаешь?

– Еще не знаю, но, вероятно, где-то через пару месяцев.

Мы пили армянский коньяк, и Аделина спросила: «Хочешь, прочитаю тебе стихи, а ты угадаешь автора?» Я молча кивнул, она достала несколько листков и начала распевно читать. С первых строк стало ясно, что это стихи о сталинских репрессиях, но я прежде не слышал их...

Это было, когда улыбался  
Только мертвый, спокойствию рад.  
И ненужным привеском качался  
Возле тюрем своих Ленинград.  
И когда, обезумев от муки,  
Шли уже осужденных полки,  
И короткую песню разлуки  
Паровозные пели гудки,  
Звезды смерти стояли над нами,  
И безвинная корчилась Русь  
Под кровавыми сапогами  
И под шинами черных марушь.

Я был захвачен этим текстом, неожиданными образами и звуками той далекой эпохи, когда меня еще не было, музы-

кой и ритмом слов, наподобие повторяющейся мелодии трагической симфонии. Потрясающий финал поэмы, в котором автор жестко определила место для своего памятника прямо напротив входа в тюрьму – там и только там – врезался в память, как казалось, навсегда...

А если когда-нибудь в этой стране  
Воздвигнуть задумают памятник мне,  
Согласье на это даю торжество,  
Но только с условием – не ставить его  
Ни около моря, где я родилась:  
Последняя с морем разорвана связь,  
Ни в царском саду у заветного пня,  
Где тень безутешная ищет меня,  
А здесь, где стояла я триста часов  
И где для меня не открыли засов.  
Затем, что и в смерти блаженной боюсь  
Забуть громохание черных марушь,  
Забуть, как постылая хлопала дверь  
И выла старуха, как раненый зверь.  
И пусть с неподвижных и бронзовых век  
Как слезы струится подтаявший снег,  
И голубь тюремный пусть гулит вдали,  
И тихо идут по Неве корабли.

Аделина замолчала, вопросительно глядя на меня.

– Мне стыдно, я не знаю автора этих стихов, но это... это что-то из бессмертного...

– Конечно, Анна Ахматова, поэма называется «Реквием», ее личный опыт... Она обещала написать об этом женщинам, стоявшим вместе с ней в тюремной очереди у входа в «Кресты». Ахматова умерла, не дождавшись публикации, вот и ходит поэма в списках...

– Почему же ее не опубликовали после смерти Сталина?

– Потому что это не про Сталина, а про режим, под которым «безвинная корчится Русь». Он всегда одинаков, что при Сталине, что при Ленине, что при нынешнем герое с Малой земли... Это же обвинительный приговор режиму: «Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных маршусь». Кто же захочет опубликовать приговор самому себе?

– Как бы излишне пафосно ни прозвучало, но эту поэму должен знать каждый русский человек, ее надо изучать в школе.

– Не позволят, сволочи, затравят, замордуют... Сужу по судьбе некоторых своих друзей, которые близко знали Анну Андреевну.

Мне послышалось мрачное пророчество в словах Аделины. Я тихо обнял ее – мне почудилась какая-то обреченность в этой красивой женщине, показалось что-то близкое, родное в этом, по существу, малознакомом человеке... Будет ли счастлива она?

Очень красивые женщины редко бывают счастливы. Они создают вокруг себя поле, притягивающее знаменитых, бога-

тых, влиятельных и, напротив, отталкивающее даже талантливых и достойных мужчин, увы, еще не достигших достаточно высокого положения. И чем ослепительнее красота женщины, тем больше кренится корабль ее судьбы в мутный водоворот красивой жизни, который сначала затягивает, а затем выталкивает ее на пенящуюся ложными соблазнами поверхность. Выталкивает, непременно прибавив еще одно разочарование относительно того мира, где она, по всеобщему мнению, только и должна пребывать. Слепленная вниманием и посулами властителей этого мира, красавица подчас проходит мимо своего счастья, не замечая его и пренебрегая им. Она не виновата в этом – ее обманывают далеко не всегда искренние поклонники, претендующие на исключительное право диктовать миру свои правила игры. Эти правила лишь в редких случаях включают счастье для их избранниц...

Я встретил первую в своей жизни очень красивую девочку еще в школе – ее звали Руфина, и за ней бегали все мальчишки, включая меня. Однажды я был выделен – Руфина сама предложила мне сопровождать ее на танцы в районном Доме культуры, что я и делал несколько раз, пока не понял, для чего нужен этой красотке. Она была из очень простой, но с принципами, семьи. Когда я приходил, чтобы сопровождать Руфину на танцы, ее мама непременно говорила: «Вот пришел Игорек – порядочный, интеллигентный мальчик, только с ним я могу отпустить Руфиночку на танцы». Руфиночка

обычно достаивала меня первым танцем, а затем куда-то таинственно исчезала, и я, как последний лох, уныло дожидался ее возвращения где-то ближе к полуночи. Возвратившись, Руфиночка просила меня довести ее до самой двери квартиры, чтобы мамочка убедилась, что она всё время находилась вместе с интеллигентным мальчиком Игорьком. Много позже я узнал, что был столь элегантно использован для прикрытия свиданий красотки со студентами и преподавателями Института кинематографии, которые сулили ей карьеру кинозвезды. Судьба Руфины сложилась причудливо. Еще до окончания школы она, как говорили, «подзалетела» от кинорежиссера из того самого института и была вынуждена по-быстрому выйти замуж за молодого врача, который безуспешно обхаживал ее. Руфина родила ребенка, но вскоре оставила его с мужем, а сама уехала вместе со знаменитым эстрадным певцом. Их роман продолжался несколько лет, пока певец не женился на другой женщине из своего круга. Руфина переживала неудачу, но потом увлеклась гремевшим на всю страну форвардом одной из ведущих футбольных команд. Это продолжалось еще несколько лет до тех пор, пока форварда не посадили то ли за пьяный дебош, то ли за изнасилование по пьянке. В это время она встретила на каком-то высоком консульском приеме известного художника, очень влиятельного человека, одного из руководителей Союза художников всей страны. Он искренне увлекся Руфиной, рисовал ее портреты, и перед ней открывалась перспектива

воистину богемной жизни. Этого, однако, не случилось из-за козней жены художника. Знаю еще, что в 1990-е годы Руфина – уже в сильно забальзаковском возрасте – вышла замуж за какого-то пожилого миллионера из «новых русских» и уехала с ним в Париж. Дальнейшие ее следы теряются... Начиная с этого моего юношеского опыта и по сей день не встречал я женщин, в которых выдающаяся красота удачно совмещалась бы с обычным человеческим счастьем. Единственное исключение – Наталья Кацеленбойген – лишь подтверждает, как говорят в таких случаях, общее правило...

Серым дождливым ленинградским утром я уговаривал Аделину не уходить, побыть еще... – ведь было воскресенье, но она сослалась на неотложные дела и уехала.

Я открыл «В круге первом» и уже не мог оторваться от этой книги до следующего утра, когда надлежало идти на работу. В моих глазах особый шарм великолепному тексту романа придавало вот какое неожиданное обстоятельство – в описанной Солженицыным спецтюрьме Министерства Госбезопасности, так называемой «Марфинской шарашке», я тотчас узнал хорошо мне известный огромный московский секретный НИИ, выросший из той солженицынской шарашки. Я бывал там по служебным делам, ибо в НИИ занимались похожими с нашим «Тритоном» проблемами, только совсем для других, не менее секретных целей... Вспомнилось, что один мой коллега из этого НИИ намекал, что, мол, вот здесь трудились известные герои известного произведения лите-

ратуры, но я его намеков не понял, ибо, вероятно, еще пребывал в полусовковом состоянии.

Проглотив за пару дней и ночей этот роман, который не читавшие его совки дружно клеймили антисоветским, я счел себя вполне готовым к политическому экзамену на верность «народу и партии», которые в нашей стране, как известно, «едины». Оставалось ждать сигнала от Екатерины Васильевны.

Она пришла ко мне накануне заседания Идеологической комиссии парткома – это придавало ее визиту некоторую деловую окраску, смягчало ее вечные сомнения в правильности поддержания со мной неделовых отношений. Мне же было наплевать как на «окраску», так и на «сомнения» – как только я видел Екатерину Васильевну вне парткома, у меня неудержимо возрастало то, что подавляло, научно выражаясь, все другие проявления когнитивного диссонанса. Я начал раздевать ее тут же у входной двери, в коридоре перед большим зеркалом. В моих руках был теплый Катеньш, а в зеркале – роскошное отражение обнаженной Екатерины Васильевны. Она слабо сопротивлялась, лишь усиливая мой напор: «Игоречек, не надо... Подожди, Игоречек...» Сэр Томас деликатно отвернулся, а затем, преодолевая любопытство и нарочито демонстрируя полное отсутствие интереса к происходящему, вообще ушел на кухню...

Из-за моего крайне агрессивного поведения Катя сумела сообщить ту новость, ради которой, по ее словам, она и при-

шла, отнюдь не сразу. Новость была хорошей: Иван Николаевич, посоветовавшись с кем-то наверху, принял решение рекомендовать меня для заграничной научной командировки. Вследствие чего предстоящее заседание Идеологической комиссии парткома по данному вопросу будет чистой формальностью. «Конечно, – наставляла меня в постели Екатерина Васильевна, – если ты не ляпнешь что-то совсем уж несусветное».

Было бы пустой отпиской сказать, что Катя – красивая женщина. Скорее, к ней подходят более сдержанные, мягкие эпитеты в пастельных тонах. Она милая и обаятельная, а еще – ладная, пикантная, ну и конечно, мягкая, ласковая, нежная и чувственная. Если портрет еще не нарисовался, то, уж извините, плох был тот художник... Впрочем, художники подчас склонны выдавать желаемое за действительное.

Я увидел Катю в первый раз, как только пришел новоиспеченным инженером в отдел Арона для беседы с будущим шефом. Она сидела в крошечной приемной за пишущей машинкой и, кокетливо стрельнув в меня серыми глазами, очень мило сказала: «Арон Моисеевич просил вас подождать – посидите...» До прихода Арона Моисеевича у меня хватило времени разглядеть его секретаря-машинистку внимательно и даже пофлиртовать с ней. Я тогда разводился с женой, считал себя свободным человеком, и Катя как-то сразу запала мне в душу. Она в то время уже окончила школу, затем курсы машинописи и готовилась поступать заочно

на филфак университета – ну и везет же мне на филологов. Всё это я выведал тут же, и мне показалось, что затеять с ней ни к чему не обязывающий роман будет несложно – девчонка простая, очаровательная, весьма коммуникабельная и, по видимому, без излишних капризов и высоких умствований. О, как я ошибался...

Ни одной женщины я не добивался так долго и упорно, как Катеньша, а она не менее упорно избегала близости со мной, оставаясь при этом кокетливой и дружелюбной. Не в силах понять истоки такого упрямства, я унизился до раскопок ее личной жизни. Катя жила вместе с матерью в квартире, доставшейся им от ее отца, давно уже имевшего другую семью. Во времена обучения на курсах машинописи молоденькую Катю соблазнил немолодой женатый директор этого заведения – это я выяснил у одной из ее бывших сокурсниц. Я не знал, продолжаются ли их свидания, но ревность и подозрения жгли меня – что она нашла в этом человеке, почему так упорно держится за столь бесперспективную связь? В конце концов не выдержал и пошел познакомиться с тем самым директором под благовидным предлогом – мол, хочу устроить на курсы родственницу из провинции. То, что я увидел, расстроило меня окончательно – Катин соблазнитель оказался невзрачным мужчиной без блеска ума, но с хорошо подвешенным языком. Ничего примечательного и привлекательного... Озадаченный больше прежнего, я усилил напор. Подобно влюбленному юнцу подкарауливал Катю, провожал

ее домой, приглашал в театры и филармонию. Мне казалось, что я ей нравлюсь, она как будто принимала мои ухаживания, но тщательно избегала любой возможности остаться со мной наедине. Так продолжалось довольно долго, вечность, как мне казалось... Я не мог понять этого и наконец решил признать свое поражение в любовной схватке с неопытной девчонкой.

Это произошло после моей поездки в Таллин, куда я попытался выманить Катю – мол, посмотрим город, проведем отлично пару дней. Катя вроде бы согласилась, я купил ей билет, встречал поезд, но она не приехала... В ярости метался я по номеру гостиницы, куда устроился по большому благу с помощью влиятельного эстонского чиновника. Долго не мог дозвониться до нее, а когда дозвонился, то услышал невнятное: «Извини, я не могу так...»

– Что ты не можешь? И что значит «так»? Катя, объясни мне, в конце концов, что происходит. Почему ты так упорно избегаешь встреч со мной. Почему не хочешь... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю... Скажи мне, наконец, прямо, в чем дело. Я смогу понять тебя, но...

– А ты, Игорь, действительно не понимаешь, почему?..

– Не понимаю и мучительно пытаюсь понять.

– Если не понимаешь, то я, наверное, не сумею объяснить, но мне уже пришлось обжечься... Извини еще раз, мне показалось, что я сумею переступить через это, но не сумела... Извини...

Я бросил трубку и вернулся в тот же день в Ленинград, твердо решив прекратить эти безнадежные ухаживания. Кто-то из классиков говорил, что обещание – «я буду любить тебя всё лето» – звучит куда убедительней, чем «всю жизнь», но Катя, очевидно, придерживалась противоположного мнения. Я пытался понять мотивы ее поведения, пытался связать их с ее первым, остро негативным, как теперь представлялось, любовным опытом. Единственное, к чему я, на самом деле, пришел, не блистало оригинальностью: пока Катя не почувствует в мужчине твердую опору, никакие сколь угодно настойчивые ухаживания не помогут, а напротив, лишь усилят ее отпор. В ней должно вызреть совершенно новое чувство, основанное на доверии к мужчине и признании его неформального лидерства. Я перестал ломиться в наглухо закрытую дверь с тайной надеждой, что она когда-нибудь откроется сама...

На те времена пришелся пик моей аспирантской работы в отделе Арона Моисеевича. Мне было поручено разработать метод кодирования некоего важного класса специальных сигналов. Я работал над этим упорно, и к концу рабочего дня на моем столе и вокруг вырастали горы бумаги, исписанной в попытках решить проблему. Со стороны можно было подумать, что я сошел с ума – на всех этих листках не было ни одного слова, даже ни одной буквы, а только лишь длинные последовательности из нулей и единиц: только 0 и 1 – и ни единого знака больше. Но постепенно из этих сиротли-

вых и унылых нулей и единиц выкристаллизовался изящный новый метод кодирования. Арон Моисеевич с присущей ему восторженностью заявил на Ученом совете: «Уваров изобрел новый код, какого еще не знала теория кодирования!» Эта завышенная оценка стремительно быстро распространилась по всему исследовательскому отделу. Меня поздравляли, и стало ясно, что диссертация получилась. Для непосвященных добавлю только вот какое разъяснение. Дело в том, что мой результат попал в самую болезненную точку нашего научного соперничества с американцами, которое сильно обострилось в 60-е и 70-е годы XX века. В те времена негласная гонка в науке играла не только идеологическую, но и важную практическую роль. В области информатики мы лидировали в теории приема сигналов, но американцы сильно опережали нас в теории кодирования. Почти все известные коды носили тогда имена американцев, а тут нате вам – «код Уварова». Я не страдаю излишней скромностью, что в данном конкретном случае, надеюсь, будет воспринято с пониманием, ибо вызвано исключительно целями поддержания правдивости и ясности изложения.

С Катей я тогда поддерживал чисто деловые, дружеские отношения, но в далеком тайнике своей испорченной души готовил план новой, мощной и неожиданной атаки. Только начало атаки я коварно отложил до защиты диссертации. Вот, дескать, получу ученую степень, и награда сама придет к герою... Однако так получилось, что Катя разрушила

мой тщательно продуманный план, нанесла упреждающий любовный удар, лишивший смысла всё мое коварство...

Это случилось в день 8 Марта, когда у нас в отделе, как обычно, была устроена традиционная вечеринка. Поздравили женщин с праздником, выпили за них, потанцевали... Как-то само собой получилось, что я был отряжен коллективом проводить Катю с букетом цветов до ее дома – ведь мы жили в одном районе. В такси я рассказывал ей о своем новом очаровательном котенке британской короткошерстной породы – эта тема давала возможность поддерживать легкую дружескую беседу, не возвращаясь к нашим болезненным прошлым отношениям. Я сетовал на то, что не могу придумать котенку имя, потому что он еще не проявил своего характера, а Катя предлагала варианты подходящих имен. Когда мы подъехали к ее дому, я попросил было шофера подождать, пока провожу даму до парадной. Но Катя из машины не вышла и сказала: «Я очень хотела бы посмотреть котенка...» Еще ничего не понимая, я неуверенно ответил: «Ну, само собой... Нет проблемы... Заходи как-нибудь...», а потом еще туповато добавил: «Не на работу же мне его таскать...» Катя тут же убила мое суперменство окончательно и бесповоротно: «Нет, я хочу посмотреть котенка сейчас...» Я поспешно назвал шоферу свой адрес, вдруг осознав, что случилось то, чего я так долго и безнадежно ждал. Плохо соображавший мачо наконец-то понял, что котенок был простым предлогом... Невыносимо долгой показалась дорога до

моего дома на соседней улице, а потом до квартиры на девятом этаже – в лифте я едва не разорвал на ней кофточку...

«На свете счастья нет, но есть покой и воля», – утверждал классик. Ни покоя, ни воли у нас с Катеньшем впоследствии не наблюдалось, а вот счастье, кажется, было. Может быть, не такое безоблачное, как хотелось бы ей, и, может быть, с некоторым перекосом из-за несовпадения конечных целей сторон, но... было! Рассказывать о тех нескольких годах до нашего разрыва и выхода Кати замуж не имеет смысла – ведь «все счастливые семьи счастливы одинаково» до тех пор, само собой разумеется, пока они не перестали быть счастливыми. Конечно, наш роман семейной жизнью можно было назвать с большой натяжкой. Мы почти и не жили вместе: любое подобие семейного быта – например, постоянное пребывание даже любимой женщины в квартире – вызывает у меня стремительно нарастающий приступ желчной раздражительности. Но отдыхали вместе много, особенно в субтропиках Кавказа и Крыма. Отдых простых, неприблатненных и к верхним партийным кругам непричастных советских людей на так называемых «курортах» был, конечно, очень своеобразным – съемная комнатка типа «сарай» с кроватью или парой раскладушек, «удобства» во дворе, многочасовые очереди в отвратительную общепитовскую столовку, конкуренция за место на пляже, душноизнуряющая борьба за билеты на обратный поезд. Но что это всё могло значить, когда ты молод, здоров и с тобой очаровательная, влюбленная в тебя

юная газель... Кстати, среди тех курортных неудобств мы с Катеньшем отлично ладили. Неурядицы начинались в комфортных городских условиях по возвращении из отпуска, когда она вдруг вспоминала, как не устроена, по существу, ее жизнь и как бесперспективны отношения со мной. Мы несколько раз расставались, но потом снова соединялись, казалось, на более высоком уровне жизненной спирали...

Окончательная тяжелая ссора произошла, когда я отказался взять ее с собой в байдарочный туристский поход. Мне казалось, что Катя с ее городскими привычками плохо впишется в походные условия и ей будет нелегко приспособиться к ним – таковыми были мои доводы. Но, честно говоря, еще одной, тайной причиной была... Наташа. Она вместе с Ароном присоединилась к нашей небольшой компании любителей путешествий по малым российским речкам в самый последний момент – им, конечно, нельзя было отказать. И тогда меня заклинило: «Неловко и нестильно выстраивать любовные отношения с Катей в присутствии Наташи, не такой имидж в ее глазах я хотел бы поддерживать». Мне представилось, как после вечернего костра мы с Катей залезаем на ночь в палатку не самым элегантным способом, и Наташа смотрит, как мы это делаем... Подловато, конечно, было так рассуждать... подловато по отношению к безвинному Катеньшу. Я всё это понимал, но преодолеть свой идиотский заскок не мог. В итоге мы с Катей круто поссорились, так круто, что решили расстаться. Я в сердцах дал ей в менторском

тоне какие-то дурацкие наставления на тему о том, как вести себя с другими мужчинами, и уехал в отпуск с тяжелым чувством пустоты и собственной ненужности в этом мире...

Плавание на байдарках по чудным лесным речкам восстановило мою энергетику и, возвратившись через месяц, я попытался вернуть течение жизни в прежнее русло, но Катя сказала: «Я выхожу замуж – надеюсь, ты не возражаешь». Наверное, если бы я тогда определенно и твердо ответил, что возражаю, река и вернулась бы в старые берега, но я этого не сказал, а лишь поинтересовался с наигранным сарказмом, кто же есть счастливый избранник. Она ответила, что его зовут Всеволодом Георгиевичем, что он инженер-конструктор, и добавила: «Остальное тебе неинтересно».

Мне было очень интересно и больно, но я промолчал. «Я предал Катеньша...» – это не позднее раскаяние, а строчка из моего дневника того времени.

После замужества Екатерина Васильевна стала быстро отдаляться от меня. Видимо, под влиянием мужа она вступила в партию, пошла учиться в Высшую партийную школу при горкоме, успешно окончила ее и была переведена в партком на должность помощника Секретаря парткома по оргвопросам. Мы виделись теперь очень редко и при случайных встречах вежливо раскланивались, как старые, но неблизкие знакомые. Так прошло несколько лет, мне казалось, что эта любовь осталась в прошлом навсегда. Казалось до тех пор, пока однажды поздно вечером, когда я уже собирался лечь

спать, мне послышалось, что во входную дверь то ли постукивают, то ли скребутся. Сэр Томас, с которого во времена его детства всё и началось, сидел рядом с дверью и, выставив вперед свою курносую мордашку, озабоченно принюхивался и прислушивался. Я открыл дверь – на лестничной площадке стояла Екатерина Васильевна в образе Катеньша...

Сейчас, по прошествии долгого времени, всё это выглядит литературным приемом – внезапное, неожиданное и негаданное, ничем вроде бы не мотивированное появление героини романа, шок окружающих, всеобщее смятение... Я сам не могу отделаться от ощущения нереальности того происшествия. Но в моем дневнике это событие без всяких эмоций зафиксировано с точной датой на соответствующей странице. А вот обо всём, что последовало за потрясением, которое мы с Томасом испытали, открыв дверь, в дневнике нет ни слова – вскоре узнаете почему... Томас, между прочим, владел собой значительно лучше меня. Он сделал вид, что ничуть не удивлен, и, пока я, потрясенный и потерявший дар речи, безмолвно изображал библейский соляной столб, стал тереться об ноги гостьи, выказывая тем самым высшую степень гостеприимства и вежливо приглашая ее войти.

Я тем временем взял себя в руки и с какими-то жалкими междометиями проводил Катеньша в комнату. Екатерина Васильевна по-деловому расположилась за столом напротив меня, и дальше произошел какой-то странный, почти невероятный разговор, которого нет в дневнике, но который я

помню очень хорошо. Она заговорила поначалу решительно и произнесла явно заранее заготовленные слова.

– Прости, что так поздно... Но я пришла к тебе, Игорь, по неотложному делу, можно сказать, за помощью к старому другу.

– Не надо извиняться, всё нормально... Спасибо, что помнишь о нашей... дружбе. Чем могу... так сказать?..

– У меня некоторые семейные проблемы... С Всеволодом Георгиевичем, я имею в виду. Многие могли бы помочь в этом деле, но я выбрала тебя. Если ты, конечно, не будешь против.

Ничего не понимая, в ожидании чего-то ужасного, я молчал. Катя внезапно занервничала, попросила стакан воды, отхлебнула из него, беспокойно огляделась, по-видимому, вспоминая былое... Казалось, что ей нелегко продолжать этот разговор, смысл которого пока еще ускользал от меня. «Может, немножко коньяка?» – предложил я. Она кивнула головой, я плеснул ей в бокал, выпил сам. Помолчали... Наконец Катя решилась... словно в холодную воду прыгнула.

– Короче говоря, я хочу ребенка... У Севы некоторые проблемы с этим... Он сам не вполне осознаёт их, но я-то понимаю, прошла обследование... Еще короче – я хочу иметь ребенка, но, чтобы Сева думал, что это его ребенок.

– Ты хочешь использовать меня для реализации этой авантюры?

– Не говори так... Это не авантюра... Это для меня... Ты

не будешь нести никакой ответственности, никто никогда не узнает об этом, клянусь тебе. Я вру, что многие могли бы помочь мне... Никому, на самом деле, я не могу довериться, кроме тебя. У нас с тобой было много хорошего, но и много плохого. Ты мог бы одним своим согласием исправить всё...

Она говорила торопливо, словно опасаясь пропустить что-то важное... Было видно, как боится она моего отказа, впервые на моей памяти у нее появились слезы. Я был еще раз шокирован – никогда Катя не казалась такой незащищенной и одинокой. Даже в минуты слабости и поражения она никогда никого ни о чем не просила, она всегда пыталась, по крайней мере, выглядеть самодостаточной, хотя я всегда знал, что это лишь маска. Я вдруг понял: в моей жизни наступил момент истины, я не могу отказать этой женщине в ее безумной затее...

Говорят, что трагическое и комическое пребывают рядом друг с другом. Было в том сюрреалистическом полночном визите Екатерины Васильевны что-то и от того, и от другого.

– Я, Катенька, согласен помочь тебе в этом деле... по старой дружбе. Так что звони, когда будешь готова. Тогда и приступим к работе...

– Зачем же мне звонить, если я уже здесь и уже готова...

Так я стал отцом во второй раз. Сына Витеньку я потерял, как и было оговорено, еще до его рождения. Он, как и Светлана, никогда не узнает, кто его отец. Об этом знает только одна женщина на всём белом свете, но она никогда не про-

говорится.

Вопреки условиям первоначального договора мы с Катеньшем продолжали встречаться и после того, как она забеременела. Наша тайная связь стала постоянной составляющей нашей жизни, а ее сюжет развивается ныне в стиле социалистического реализма, где между общедоступными фасадными строчками никто не прочитает подлинного – скрытого и сокровенного. Но исходный налет сюрреализма в этом сюжете нет-нет да и проявит себя...

## Глава 5. Атлантический океан

*Из всех описаний людей и плаваний меня больше всего поразил подвиг одного человека, непревзойденный, думается мне, в истории познания нашей планеты. Я имею в виду Фернандо Магеллана, того, кто во главе пяти утлых рыбацких парусников покинул Севильскую гавань, чтобы обогнуть земной шар. Прекраснейшая Одиссея в истории человечества – это плавание двухсот шестидесяти пяти мужественных людей, из которых только восемнадцать возвратились на полуразбитом корабле, но с флагом величайшей победы, реющим на мачте...*

*Попробуйте представить себе, как они... отправлялись в неведомое, не зная пути, затерянные в беспредельности, под вечной угрозой гибели, отданные во власть непогоды, обреченные на тяжчайшие лишения. Ночью – беспросветный мрак, единственное питье – тепловатая, затхлая вода или набранная в пути дождевая, никакой еды, кроме черствых сухарей да копченого прогорклого сала, а часто долгие дни даже без этой скудной пищи. Ни постелей, ни места для отдыха, жара адская, холод беспощадный, и к тому же сознание, что они одни, безнадежно одни среди этой жестокой водной пустыни. На родине месяцами, годами не знали, где они, и сами они не знали, куда плывут. Невзгоды сопутствовали им, тысячеликая смерть обступала их на воде и на суше... Месяцы,*

*годы – вечно эти жалкие, утлые суденьшики окружены были ужасающим одиночеством. Никто – и они это знали – не может поспешить им на помощь, ни один парус – и они это знали – не встретится им за долгие, долгие месяцы плавания в этих не вспаханных корабельным килем водах, никто не выручит их из нужды и опасности, никто не принесет вести об их гибели...*

*В то время как я, в соответствии со всеми доступными мне документами, по мере возможности придерживаясь действительности, воссоздавал эту вторую Одиссею, меня не оставляло странное чувство, что я рассказываю нечто вымышленное, одну из великих грез, священных легенд человечества.*

*Но ведь нет ничего прекраснее правды, кажущейся неправдоподобной!*

*В великих подвигах человечества именно потому, что они так высоко возносятся над обычными земными делами, заключено нечто непостижимое; но только в том невероятном, что оно совершило, человечество снова обретает веру в себя.*

*Стефан Цвейг, «Магеллан»*

**\* \* \***

Нас с Ароном рассматривали отдельно – сначала его, потом меня. Пока я сидел в приемной парткома, ожидая вызова на ковер, ничего хорошего и светлого в голову не приходи-

ло. Я пытался вспомнить эпизоды деятельности средневековой Святой инквизиции. Кажется, полное название этой организации было «Святой отдел расследований еретической греховности». Конечно, сам факт нашего неподдельного желания совершить кругосветное путешествие можно было бы считать проявлением ереси. Правда, при двух смягчающих обстоятельствах: мы намеревались совершить это греховное деяние по приказу безгрешного по определению начальства и в интересах укрепления обороноспособности родины. И тем не менее сидящие за двойными дверями парткома члены святой инквизиции просто обязаны подозревать наличие ереси в наших с Ароном помыслах – мол, командировка командировкой, а что эти «путешественники» на самом деле будут думать в заморских странах в отрыве от своей социалистической родины?

Я с тоской размышлял о том, что Идеологическая комиссия парткома была только первым и отнюдь не самым главным инквизиторским барьером на пути подобных мне граждан страны развитого социализма, возжелавших съездить за границу. Она играла роль некоего предварительного фильтра, долженствующего отсеивать явно непригодных для заграничных путешествий субъектов. Комиссия освобождала тем самым более высокие инквизиторские инстанции от рутинной работы по выявлению лиц греховной ориентации, которые не смогут устоять перед соблазнами тамошней заграничной жизни, а пуще того – завезут ту заразу к нам. Многие

небольшие организации даже не имели подобных комиссий, их заменял так называемый «треугольник» – директор организации, секретарь парткома и председатель профкома, которые как бы брали на себя ответственность за поведение лица, рекомендованного к поездке за границу. В случае недостойного поведения этого лица – участия в несанкционированных встречах с иностранцами, контактах с проститутками, журналистами, иммигрантами, антисоветски настроенными элементами и т. д. и т. п. – или, не дай бог, в случае бегства предателя, изменника родины в мир капитализма «треугольник» ожидало наказание, соответствующее тяжести преступления рекомендованного им лица. Это наказание, однако, демпфировалось тем благоприятным для «треугольника» обстоятельством, что последующие инстанции, судя по результату, тоже пропустили такого неподготовленного для поездки за рубеж субъекта, то есть не разобрались, проявили идейную незрелость, пошли на поводу... Вследствие этого данный инквизиторский барьер, как правило, преодолевался без особых усилий, если, конечно, за вами не числились такие совершенно ужасные деяния, как, например, изнасилование секретарши директора, систематическое пребывание в вытрезвителе или публичные антисоветские высказывания. Последующие барьеры – второй и третий инквизиторские круги, через которые мне еще предстояло пройти, были более серьезными. Там дело рассматривали не местные партийные активисты-самоучки, а закаленные

в борьбе за построение коммунизма в одной, отдельно взятой стране железные партийцы опасной пенсионной зрелости под руководством профессионалов из госбезопасности. Последние располагали не только беззубой характеристикой субъекта с места работы, но и обширным досье со всеми данными и доносами о нем...

Мои размышления о нашем великолепно отлаженном, многоступенчатом механизме отбора лиц, пригодных для поездки за границу, прервало появление Арона.

«Там перерыв, – сказал он, выйдя из дверей парткома, – у тебя есть минут пятнадцать, пойдем перекурим». Мы вышли на лестничную площадку, закурили, и Арон кратко рассказал, что там было.

Его спросили сначала, какие капиталистические страны он лично собирается посетить во время командировки. «Видите ли...» – начал было Арон, но Иван Николаевич прервал его и разъяснил уважаемым членам комиссии, что это не их ума дело, а именно – командировочное задание товарища Кацеленбойгена относится к закрытым материалам и известно только ведомству заказчика и никому другому. «Есть ли еще к Арону Моисеевичу вопросы по существу?» – спросил он. Все молчали, но Игнатий Спиридонович – большевик с дореволюционным стажем, лично знавший, по его утверждениям, самого Владимира Ильича, спросил: «Какие выводы для себя лично вы как коммунист сделали из решений последнего Пленума ЦК нашей партии?» Члены ко-

миссии, вероятно, пожалели, что уважаемый Игнатий Спиридонович задал такой вопрос, ибо Арон тут же прочитал им небольшую лекцию о решениях Пленума ЦК их родной партии и о тех задачах, которые эти решения ставят перед всеми коммунистами и лично перед каждым членом комиссии. Они, члены комиссии, я думаю, внезапно горестно осознали, как мало лично сделали для реализации тех решений, и, пристыженные, больше вопросов к Арону Моисеевичу не имели. Поэтому Ивану Николаевичу не составило труда по-быстрому заключить, что товарищ А. М. Кацеленбойген является зрелым коммунистом, преданным делу партии, и что его непосредственное участие в предусмотренных правительством зарубежных работах чрезвычайно важно для нашего отечества.

«Короче, – подвел черту Арон, – меня, ясное дело, рекомендуют для поездки. Теперь твоя очередь. Не волнуйся, vedi себя уверенно, но, прошу, сдержанно и аккуратно...»

А я и не волновался... Арон не знал, что Катенька предупредила меня: положительное решение по моему вопросу уже негласно принято.

В кабинете секретаря парткома размером с волейбольную площадку помимо огромного письменного стола самого Ивана Николаевича и приставленного к нему стола под зеленым сукном с красивыми стульями для посетителей располагался еще один непомерно длинный стол заседаний парткома, занимавший половину зала вдоль трех высоких окон

с замечательным видом... Впрочем, про вид умолчу, чтобы, не дай бог, не раскрыть местоположение нашего богоугодного заведения. Сам Иван Николаевич восседал во главе синклита в торцовой части стола заседаний, а мне было предложено занять место напротив него в противоположном торце так, чтобы моя личность была видна всем членам комиссии, располагавшимся по обеим сторонам стола. Екатерина Васильевна вела протокол заседания за небольшим столиком несколько в стороне и, слава богу, у меня за спиной, что обеспечивало возможность не отвлекаться греховными мыслями от столь серьезного процесса.

Процесс же начался, когда по знаку Ивана Николаевича его помощник Илья Яковлевич зачитал мою биографию и рабочую характеристику, написанную Ароном. Из этих документов нарисовался монументальный образ молодого советского ученого, все свои силы и всё свое время без остатка отдающего на благо социалистической родины. Илья Яковлевич прежде служил военным политруком, но был уволен, когда Политбюро приказало министру обороны без лишнего шума очистить армию от евреев. Он, однако, продемонстрировал непоколебимость партийной номенклатуры и всплыл у нас на волне укрепления партийного влияния в промышленности. Илья Яковлевич, конечно, не верил ни одному слову зачитанных им опусов, ибо имел допуск к досье сотрудников в секретном отделе, где пользовался репутацией своего человека. Тем не менее для меня и, хотелось думать, для чле-

нов комиссии эти материалы давали позитивный старт всей процедуре.

Первым задал вопрос, конечно же, Игнатий Спиридонович, причем вопрос совершенно неожиданный: «Какое историческое событие отражает памятник у Финляндского вокзала?»

Здесь, вероятно, уместно пояснить, что Игнатий Спиридонович был весьма известным в высших кругах партийным начетчиком. Его популярность поддерживалась не только слухами о личном знакомстве с самим Лениным, но и вполне реальными познаниями в марксистко-ленинской теории – никто не помнил так много цитат из классиков марксизма-ленинизма, как он. Как ему удалось при подобной эрудиции выжить во времена сталинского террора – остается загадкой. Невероятная память на цитаты сделала Игнатия Спиридоновича чрезвычайно важной партийной фигурой в тот самый момент, когда по решению ЦК цитирование классиков позволялось только с конкретной ссылкой на письменный первоисточник. Конечно, и раньше партийное начальство обращалось к нему за помощью в подборе подходящих к случаю цитат, но после указанного решения без Игнатия Спиридоновича просто жить стало невозможно. Рассказывали, например, о таком анекдотическом случае.

Как-то сам Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС и член Политбюро вознамерился произнести речь на каком-то комсомольском съезде. Гвоздем речи была зна-

менитая ленинская фраза: «Учиться, учиться и учиться...» Железный маршеобразный ритм этого высказывания вождя наряду с его полной бессмысленностью производил на молодых лентяев и неучей огромное воспитательное впечатление. Сам вождь якобы произнес эту бессмертную сентенцию на каком-то молодежном сборище еще в доисторические времена, но в соответствии с новыми веяниями надлежало дать точную ссылку на том и страницу его трудов, где высказывание было впервые опубликовано. Срочно найти первоисточник было поручено Игнатию Спиридоновичу. Он, как положено, провел скрупулезное исследование и доказал, что такой фразы в трудах Ленина нет... По отдельности слово «учиться» в трудах классика встречается, а три раза подряд никак нет, не обнаруживается. Замешательство и даже недовольство в высших сферах ничуть не сбilo Игнатия Спиридоновича с праведного пути, а напротив, укрепило его начетнический авторитет, так что Ивану Николаевичу стоило больших трудов и, полагаю, немалых денег сделать Игнатия Спиридоновича внештатным членом нашего парткома.

Итак, вопрос о памятнике у Финляндского вокзала был Игнатием Спиридоновичем задан, и я, обрадованный его простотой, высокопарно ответил: «У Финляндского вокзала воздвигнут памятник Владимиру Ильичу Ленину; в нем запечатлен момент возвращения вождя мирового пролетариата из ссылки». А затем, чтобы совсем добить членов комиссии своими познаниями в истории партии, неосмотрительно

добавил: «Вернувшись из ссылки, Владимир Ильич взобрался на броневик и прочитал восторженной толпе балтийских матросов свои знаменитые Апрельские тезисы». Наступила грозная тишина... Игнатий Спиридонович скривился и сказал: «Во-первых, Владимир Ильич прибыл на Финляндский вокзал не из ссылки, а из заграницы, и, во-вторых, Апрельские тезисы как программный документ большевиков были впервые приняты на Седьмой Всероссийской конференции РСДРП(б) через три недели после его приезда». Я хотел было возразить в том смысле, что, мол, гениальный вождь уже всё наперед предвидел в момент залезания на броневик, но вспомнил просьбу Екатерины Васильевны не выпендриваться, не зарываться и промолчал.

Второй каверзный вопрос задал мне Борис Григорьевич – главный корпоративный антисемит, делавший служебную карьеру путем непримиримой борьбы с сионизмом. Блестящую совдеповскую идею – закамуфлировать свой пещерный антисемитизм высокоидейным антисионизмом – Борис Григорьевич практически внедрял во все сферы жизни нашего ПООПа. Я был предметом его особой неприязни – мол, с евреями всё и так ясно, но главную опасность представляют подобные Уварову скрытые, славянских корней пособники сионистского влияния. Истинная подоплека этой неприязни, помимо банальной зависти – прибежища бездарности, была еще вот в чем: в отличие от евреев я мог себе позволить дать отпор завуалированному под идейность юдофобству.

– Как бы вы, Игорь Алексеевич, прокомментировали агрессивное нападение израильской военщины на арабских соседей во время войны Судного дня?

– Насколько я знаю из печати, Борис Григорьевич, Египет и Сирия первыми напали на Израиль. Поэтому обвинения в агрессивном нападении следовало бы адресовать другой стороне. Если у вас есть иная информация, не совпадающая с официальной, то было бы любопытно узнать, откуда вы ее получаете.

– Что оставалось делать арабам перед лицом готовившегося сионистами нападения – они вынуждены были превентивно атаковать.

– А что оставалось делать евреям перед лицом внезапного нападения арабов с двух сторон – они вынуждены были защищаться.

– Вы, Игорь Алексеевич, похоже, симпатизируете сионистам и ничуть не сочувствуете семьям советских специалистов и советников, пострадавших от рук израильских вояк.

– Навешивание политических ярлыков показывает отсутствие у вас, Борис Григорьевич, каких-либо серьезных аргументов в поддержку вашего мнения. Кстати, советские специалисты не принимали участия в той войне – так говорят наши официальные источники. Откуда у вас противоположная информация?

Иван Николаевич вынужден был прервать эту дискуссию, которую партком в лице Бориса Григорьевича явно проиг-

рывал. Мне показалось, что некоторые члены комиссии были рады этому – уж слишком нагло, расталкивая других достойных партийцев, лез навстречу этот молодой из ранних выскочка-антисионист...

Обстановку разрядил мой приятель Артур из соседнего отдела. Как он попал в эту инквизиторскую компанию – ума не приложу. Артур был серьезным ученым в области системотехники, готовил докторскую диссертацию. Когда он не без смущения сообщил о своем решении вступить в партию, у меня на лице, естественно, нарисовались недоумение и осуждение. Артур тогда, помнится, превентивно оправдывался: «Игорь, пойми, если мы, порядочные люди, хотим добиться позитивных изменений в нашей стране, то должны быть среди тех, кто принимает решение – это же элементарный принцип системного подхода». Партия – нужно отдать ей должное – с радостью приняла молодого перспективного ученого в свои ряды. Теперь она, партия, судя по всему, старается повязать неопытного со всеми своими функционерами одной грязной веревкой в точном соответствии с его системным подходом.

Артур Олегович резко свернул с опасной темы сионизма и задал вопрос, на который, по его представлениям, я без труда мог ответить: «Скажите, пожалуйста, Игорь Алексеевич, кто сейчас возглавляет МНРП – Монгольскую народно-революционную партию?» Этот вопрос ужаснул меня... По рекомендации Арона я вызубрил имена главных комму-

нистов только тех стран, мимо которых мы предположительно намеревались проплыть. Естественно, среди этих стран не было Монголии, не имеющей выхода к морю, но Артур полагал, что о Монголии я знаю достаточно много. Дело было вот в чем...

Однажды еще до вступления в партию Артур подарил мне на день рождения полугодовую подписку на газету «Социалистическое сельское хозяйство» на монгольском языке. Причиной такого странного подарка было замечательное монгольское название газеты, крупной кириллицей отпечатанное наверху ее первой страницы: «СОЦИАЛИСТЕ ХУДО АЖ АХУЙ». Приятное для русского уха и трогательное до слез звучание этого названия удачно сочеталось с убийственно точной характеристикой не только монгольского сельского хозяйства, но и любого социализма в целом. Вследствие этого экземпляры еженедельной монгольской газеты расходились, как жареные пирожки, и очередь за ними, состоявшая из моих друзей, знакомых и даже малознакомых, не иссякала, хотя никто из них не читал по-монгольски. Артур, я верю, наивно полагал, что, получая еженедельно монгольскую газету в течение полугода, я поинтересуюсь, по крайней мере, именем Генерального секретаря МНРП. О, святая наивность...

В наступившей вязкой тишине я пытался вспомнить что-либо о Монголии кроме названия ее сельскохозяйственной газеты. Чингисхан, хан Батый – это всё из времен Вели-

кой монгольской империи и татаро-монгольского ига. Может быть, сорваться и ответить – Чингисхан, и пусть все они идут в задницу со своей МНРП. Почему я должен унижаться здесь, какое это всё имеет отношение к моей работе?.. Да, но кругосветное путешествие... Вот еще всплыло – столица Улан-Батор, и я наконец вспомнил: Сухэ-Батор. Кажется, Сухэ-Батор и основал эту МНРП, но он наверняка давно умер. Вдруг всплыло еще одно имя – Чойбалсан, диктатор и убийца сталинского разлива, если мне не изменяет память. Достойный продолжатель чингисхановских методов в XX веке, вполне подходит на роль запрашиваемого лица...

Тишина становилась угрожающей, молчать больше было невозможно, и я выпалил: «Чойбалсан». Игнатий Спиридонович, скорбно вздохнув, сказал: «Товарищ Чойбалсан скончался в 1952 году». Я определенно поплыл... В голове вертелось – Чемберлен, Цимерман, Цедербаум, Чимбербал... От полного провала меня спасла Екатерина Васильевна. Она неожиданно начала раздавать всем листки с повесткой дня сегодняшнего заседания, и на подsunутом мне экземпляре внизу было от руки мелко приписано – Цеденбал. Славный Катеньш... Я выдержал паузу, наморщил лоб, изображая крайнюю степень умственного напряжения, и небрежно сказал: «Да, прошу прощения за оговорку. Это, конечно, товарищ Цеденбал».

«Думаю, вопросов больше нет, комиссия имеет достаточно материалов для принятия решения и может приступить

к его обсуждению. Нет возражений? Вы свободны, Игорь Алексеевич», – завершил экзекуцию Иван Николаевич.

Катя потом рассказала о закрытой части моего процесса. Игнатий Спиридонович высказался в том смысле, что он, конечно, не в курсе деловой подоплеки командирования товарища Уварова за границу, но товарищ Уваров, к сожалению, имеет весьма поверхностную политическую подготовку, вследствие чего он лично предпочитает воздержаться при голосовании по данной кандидатуре. Борис Григорьевич сказал, что он против «этой кандидатуры» и пояснил: «В условиях агрессивного сионистского заговора, поддерживаемого империалистами США, считаю недопустимым рекомендовать для командирования за границу человека с нетвердыми политическими убеждениями и склонного к преуменьшению сионистской опасности». Артур Олегович возразил, что не согласен с позицией уважаемых товарищей по рассматриваемому вопросу. Товарищ Уваров, по его словам, фактически правильно ответил на все вопросы, никто не сомневается в его научно-технической квалификации и способности выполнить на высоком уровне важное правительственное задание. «Мы совершим серьезную политическую ошибку, если отклоним кандидатуру товарища Уварова», – заключил он.

Дело решило выступление Ивана Николаевича. Он начал издали, рассказал, какие серьезные задачи стоят перед отечественной оборонной промышленностью, а затем пояснил,

насколько критично участие специалистов высшей квалификации в государственных испытаниях важнейшего нового изделия нашего предприятия. Секретарь парткома закончил свое выступление мощным аккордом:

«Мы должны иметь в виду, товарищи, что речь идет не о туристической поездке нашего сотрудника за границу, а об ответственной работе стратегического значения, которая может быть выполнена только за рубежами нашей родины. В политических знаниях товарища Уварова, конечно, имеются огрехи, но подозревать русского человека пролетарского происхождения в симпатиях к сионизму, по-моему, уж извините, Борис Григорьевич, – есть полная чепуха. Что же касается квалификации товарища Уварова и его готовности к выполнению данной работы на требуемом заказчиком уровне, то по этому вопросу у всех членов комиссии мнение однозначное и весьма положительное. Поэтому я предлагаю утвердить кандидатуру И. А. Уварова для выполнения производственного задания за рубежом и направить в райком партии соответствующую рекомендацию за подписью треугольника предприятия. Кто за это предложение, прошу поднять руку... Кто против?.. Кто воздержался?.. Решение принято при одном против и одном воздержавшемся. Прошу вас, Илья Яковлевич, и вас, Артур Олегович, совместно подготовить текст рекомендации треугольника для комиссии райкома партии».

Отпущенный на свободу, я решил дождаться Катю во что бы то ни стало. Отогнал машину за пару кварталов и почти час проторчал за углом, укрывшись в телефонной будке. Позвонил, конечно, Арону.

– Арон, привет! Меня отпустили, результат не знаю, подробности при встрече...

– Всё в порядке, Игорь, – и тебя, и меня утвердили, готовься к райкомовской комиссии. Между прочим, и у меня, и у тебя один голос против. Догадываешься, кто это?

– Ясное дело – наш профессиональный антисиионист Б. Г.

– Почему он голосовал против меня, и ежу понятно... Но почему против тебя?

– Фактически по той же причине... Помнишь, у Евтушенко: «Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскоруждой я всем антисемитам, как еврей...» Однако как ты узнал о результатах?

– Мне только что позвонил Иван.

– За что такая честь?

– Он очень доволен тем, как провернул дело, и, я думаю, связывает известные тебе последствия этого дела со своими личными далеко идущими планами. Если, конечно, мы с тобой не ударим в грязь лицом на морских просторах...

– Спасибо, Арон, за хорошую новость. Мы справимся, если не будут мешать. Пока... Я из автомата, перезвоню тебе позже... – заторопился я, увидев идущую в моем направлении Катю.

Она ничуть не удивилась моему присутствию на ее пути в метро.

– Тебя утвердили, Чойбалсан, подробности потом, сейчас нет ни времени, ни настроения...

– Спасибо тебе! Поедем ко мне...

– Нет, не поедем... Я же сказала, что нет ни времени, ни настроения.

– Давай я хотя бы отвезу тебя домой.

– Пожалуй, устала я сегодня.

В машине я пытался обнять ее, но она не была склонна к нежностям.

– Что-то случилось, Катя?

– Ничего нового, просто тошно от всего.

– И от меня?

– Я не говорила про тебя.

– Что-то всё-таки случилось... Поделись со мной, не держи в себе.

– Почему мне надо делиться неприятностями с тобой?

– Потому что я люблю тебя.

– А как же Аделина?

– При чем здесь Аделина... Не хочешь рассказывать, не надо...

Я был удивлен и огорчен, мне казалось, что Катя уже давно не ревновала меня, ее замужество как бы уравнило нас, но оказывается... Мы долго молчали, дорога была неблизкая – Катя жила в доме сталинских времен с замечательным ви-

дом на парк Победы, совсем недалеко от моего новостроя. Я помнил этот вид еще по старым добрым временам... Она первой прервала молчание.

– Устала я, Игорь, от домашних скандалов. Мама не любит Севу, он не любит маму... У мамы нервный характер без тормозов, а Сева не терпит, когда, как ему кажется, мама не считает его хозяином в доме.

– Я уже не раз говорил тебе, что вам с мамой нужно жить отдельно. Поменять квартиру и разъехаться нужно...

– Говорить легко... а вот жить без мамы при моей занятости трудно. Она ушла с работы, чтобы сидеть с Витюней, и весь дом на ней.

– Всё равно тебе нужно решать проблему – Сева и твоя мама не уживутся никогда. Если потребуется моя помощь, скажи...

– Ой, не смей меня, Чойбалсан! Решить проблему можно очень просто... Я развожусь с Севой и выхожу замуж за тебя. Возьмешь меня замуж? Вместе с мамой и сыном, с твоим, между прочим, сыном, – не забыл еще?

– Это запрещенный удар, Катя... Я ничего не забыл... Это ты кое-что забыла...

Мы опять надолго замолчали, и она снова первой прервала молчание.

– Извини, что вспомнила старое... Если говорить по делу, то даже мою отличную квартиру, но на пятом этаже без лифта, нелегко разменять на две хотя бы приличные.

– Неужели Ваня не может помочь по своим партийным каналам?

– Иван Николаевич занят сейчас своими проблемами, занят так плотно, что ни о чем больше и думать не желает. Если не считать, конечно, твоей Аделины...

– Что ты имеешь в виду?

– Как говорится, все в Одессе знают, а он один-единственный не знает... Клинья Иван к ней подбивает – вот что я имею в виду. Вызывал на днях к себе – якобы для производственной беседы...

Во мне нарастало чувство недовольства собой, какая-то тревога тягостная... Знаете, со всеми, наверное, бывает такое – когда в душе некий неприятный осадок от чего-то, а от чего – не очень понятно. Конечно, я вел себя на комиссии как последний оппортунист, приспособливался, беспринципно выкручивался... А что делать? Все мы участники этой лжи. Как те, кто не понимает этого, так и такие, как я, кто понимает, но терпит, не возражает и участвует во всей этой пакости. А может быть, здесь еще нахлобачился этот нелегкий разговор с Катей... Разговор с моим моральным поражением в финале. Так всегда у нас с ней бывает – физически по факту я всегда впереди, «со щитом», но морально она всегда выше, а я «на щите». И обманываться на этот счет бессмысленно. А еще тут – новость нелепая об Аделине. Ваня и Аделина – сплошной нонсенс... Хотя, казалось бы, какое мне дело?

Мы подъезжали по Московскому проспекту к парку Победы, я свернул в боковую тихую улицу и остановил машину. Катя сказала: «Пару минут посижу, дай сигарету...» Я дал ей закурить, закурил сам. Мне казалось, что Катя успокоилась, но напряжение этого дня и нашего разговора, вероятно, не могло разрядиться просто так само собой без взрыва. Она внезапно по-детски всхлипнула: «Не хочу идти домой...», а потом судорожно и жалобно разрыдалась, уткнувшись лицом в мое плечо...

Я молчал, у меня не было подходящих слов, любые слова были бы бессмысленны. Чтобы хоть что-то сказать, я повторил свое предложение: «Если хочешь, поедem ко мне...» Катя наконец справилась с собой, выпрямилась, приложила к лицу платок, потом сказала: «Нет, не хочу, ничего не хочу... Пойду домой, Вите надо помочь с уроками. Ты извини меня – сорвалась... Ты не виноват...» Она вышла из машины, пошла вперед, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед: неужели Катя действительно думает, что я ни в чем не виноват? А кто же тогда виноват, если не я, – ведь только я мог бы изменить ее жизнь к лучшему. Мог бы... Успокоительная мысль вертелась в голове – в этой жизни виноватых нет, точка!

Той ночью я не мог уснуть – тягостный неприятный осадок от всего прошедшего дня не исчезал. Казалось бы – комиссию прошел успешно, всё идет по плану, а на душе гадостно. Полным идиотом выказал себя с этими чойбалсанами и цеденбалами. Нет бы сказать им:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.